

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»

А. Г. Кислов

**МЕЖДУ ФАКТАМИ И КОНЦЕПТАМИ:
НЕЛИНЕЙНЫЕ ТРАЕКТОРИИ НАУЧНОГО ПОИСКА**

Екатеринбург
РГППУ
2019

УДК 165
ББК Ю2
К 44

Кислов, Александр Геннадьевич.

К 44 Между фактами и концептами: нелинейные траектории научного поиска / А. Г. Кислов. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 140 с.
ISBN 978-5-8050-0675-4

На примере формирования в 80-гг. XX в. психологической теории переживания и на основе диалогической методологии М. М. Бахтина, О. Розенштока-Хюсси и М. Бубера рассмотрена классическая проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней научного познания с учетом заслуживающего серьезного признания вклада в ее осмысление отечественной гносеологии второй половины XX – начала XXI вв.

Предназначена всем, кому интересны философия науки, проблемы обновления методологических основ современной психологии.

УДК 165
ББК Ю2

Рецензенты: д-р филос. наук, проф. Л. А. Беляева (ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»); канд. психол. наук Н. О. Садовникова (ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»)

ISBN 978-5-8050-0675-4

© ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-
педагогический университет», 2019

*Евгению Михайловичу Дорожжину,
с благодарностью за свидание
с моей научной молодостью*

Введение

Эллины различали и нередко резко противопоставляли γνῶσις (подлинное знание, знание достойных его) и δόξα (общепринятое мнение, стереотипы, предрассудки). Γνῶσις и δόξα – это и результаты, и процесс их получения. В первом случае получения истин, во втором – всего прочего (как говорят сегодня, «словесного мусора», «информационного шума», «фейков» и прочих разновидностей псевдознания), чем довольствуются неучи – тупицы, лентяи или бедняки, которым некогда оторваться от вечных поисков крова и пропитания. Эта древняя **гносеология** (теория знания и познания) самым тесным образом переплетена с древними этикой и социальной стратификацией, а значит, и с экономикой: познание истин – удел лучших, достойных (ἀριστος). Остальные же (δῆμος и тем более οἴλος) даже не способны оценить разницу между γνῶσις и δόξα. Настолько не способны, что лучше их и не посвящать, чтобы не получить неадекватную реакцию, а потому уж пусть довольствуются тем, к чему привыкли.

Презрение высших к низшим – весьма характерная черта древних обществ, сохраняющаяся вместе со многими другими характеристиками до наших дней. Напоминание же об эллинах пока вызвано лишь тем, что в современный русский, как и во многие другие европейские языки, философская наука о процессах познания и их результатах – знаниях – вошла и сохраняется под древнегреческим названием «гносеология». У данной науки богатейшее наследие осмысления многочисленных проблем, связанных с трудностями, парадоксальностью процессов познания и превратностями судеб знаний, открывшихся, полученных и нередко утраченных. Обращение к указанным задачам связано как с благодарной актуализацией осмысленного в прошлом, так и с надеждой внести в этот процесс хотя бы скромную лепту, чтобы оттенить тот нюанс, на который давно надо было обратить вни-

мание, но как-то до сих пор он оставался в тени – недооцененным, а то и вовсе незамеченным. Стремление вывести из тени один из таких гносеологических нюансов породило и эту работу.

Речь в ней пойдет преимущественно о ставшей уже классической гносеологической проблеме соотношения, связи, взаимовлияния факта и теории, прежде всего, в научном познании. Часто толкуемая именно как проблема генетической связи она имеет длительную историю, содержит в постановке все больше сомнительного, нежели эвристичного. Но и в свете грандиозных социальных сдвигов, научно-технических прорывов давняя проблема даже в такой постановке не только живет, но приобретает новую остроту. На общественную и частную жизнь наука оказывает все большее влияние, потому растущую социально-практическую значимость приобретают исследования закономерностей ее формирования, функционирования и развития, в частности, роста научного знания. Без изучения последних не могут быть эффективными ни регулирование организации научных исследований, ни выявление оптимальных форм связи науки с производством и социальной практикой.

Актуальность гносеологических исследований определяют и внутринаучные процессы, возрастающие одновременно, и дифференциации, и интеграции научного знания, и рост числа и степени радикальности научно-теоретических альтернатив и новых научных направлений.

Научное познание и знание составляют три структурных уровня:

- *эмпирический* – (от др.-гр. ἐμπειρία) опыт;
- *теоретический* – (от др.-гр. θεωρητικός) видимый, причем не стоит игнорировать близкое по звучанию и этимологии (θεός – от др.-гр.) – бог, так что получается «видимый богом, богами; богозримый; с божественной точки зрения; с позиций Вечности»;
- *мировоззренческий* – (от др.-гр. ἀρχέτυπον) первообраз, который еще называют предпосылочным, а также метатеоретическим или архетипическим.

Поэтому уже самый общий взгляд обнаруживает, что функционирование и развитие науки во многом определяются взаимоотноше-

ниями этих структурных уровней, чему посвящены многочисленные исследования, отраженные в соответствующих публикациях. Так, взаимосвязь теоретического и мировоззренческого уровней обстоятельно рассмотрены Т. Куном, И. Лакатосом, М. Малкеем, М. Полани, В. С. Степиным, С. Тулмином, П. Фейерабендом и др. Меньшее внимание уделено взаимовлиянию эмпирического и мировоззренческого уровней, хотя анализ некоторых аспектов данного вопроса можно найти в работах В. А. Лекторского, С. Ф. Мартыновича, Е. П. Никитина, В. В. Петрова, М. Коула, С. Скрибнера и др. Зато с давних пор самый большой интерес как у философов, так и у весьма именитых представителей позитивного научного знания вызывают взаимоотношения эмпирического и теоретического уровней. Число публикаций, посвященных этому вопросу, невозможно охватить, что неслучайно.

Впервые проблема взаимоотношения факта и теории, эмпирического и теоретического уровней знания остро формулируется в трудах Ф. Бэкона (1561–1626) в контексте борьбы с господствовавшими в его времена схоластикой и спекулятивным рационализмом. На защиту последнего от «бэконовского эмпиризма», кстати, поднялся Р. Декарт (1596–1650) – тоже отнюдь не адепт клерикального догматизма. Долгое время эта проблема так и существует как «дилемма эмпиризма и рационализма». Затем на нее стали смотреть как на процесс, акцентируя внимание на том, что познание не ограничивается раз и навсегда застывшим результатом. Движение мысли обнаруживает перенос акцентов и значений, а их несовпадение ведет к различиям в оценках характера взаимоотношений эмпирического и теоретического (рационального) уровней науки.

Тем не менее и в современной литературе по данному вопросу можно наблюдать все те же два основных подхода. Одни исследователи считают, что эмпирическое в конечном счете всецело определяет теоретическое как генетически, так и содержательно, и структурно. Другие критикуют первых за недооценку самостоятельности теоретического уровня, ведь как раз степень его самостоятельности является поводом к дискуссиям уже внутри лагеря критиков излишнего эмпиризма. Но ни те, ни другие не отрицают важность и теснейшую взаимо-

связь двух названных уровней научного знания: научных фактов (эмпирии) и научной теории.

Понятие «факт» (от лат. *factum* – сделанное, совершившееся) как важнейший содержательный элемент эмпирического уровня знания также подразумевает ряд несовпадающих трактовок:

- 1) непосредственно реальное событие;
- 2) знание о реальном событии, т. е. опосредованное знание (знаемого) реального события, точнее, реальное событие постольку, поскольку и как мы его знаем;
- 3) то и другое в их несовпадении;
- 4) различаемые между собой эмпирические факты (знание – преимущественно чувственное, единичное и случайное) и теоретически «нагруженные» факты (единство, синтез теоретического и эмпирического, рационального и чувственного).

Понятие «теория» имеет еще больше трактовок, в которых обязательно отмечен умозрительный, системный, логически непротиворечивый характер теоретических построений. Именно построений (конструкций), а не просто мгновенных озарений, интуиций, прозрений, откровений.

От теорий требуют доказательности, объяснительной силы и прогностичности. Факт же часто считается заведомо обладающим доказательной силой.

Предлагаемая работа выполнена на основании хронологически небольшого (XX столетие) этапа развития отечественной **психологии** – науки, являющейся одной из наиболее близких к философии; испытывающей как бурное развитие, так и массу трудностей; то приобретающей все большее значение в жизни общества и отдельного человека, то нередко вызывающей язвительное недоверие. Это тем более требует ее глубокого гносеологического осмысления и по возможности обоснования.

Психология занимает своеобразное промежуточное положение между естественными науками и общественными, что повышает к ней гносеологический интерес.

В наибольшей степени мы обращаем внимание на ставшую научным хитом конца XX в. через несколько лет после выхода в свет

монографию Ф. Е. Василюка *«Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций»* [46], а также на примыкающую к ней монографию Н. И. Сарджвеладзе *«Личность и ее взаимодействие с социальной средой»* [197], отличающиеся четкой гносеологической и методологической саморефлексией и представляющие несомненный интерес как с психологической, так и с гносеологической точек зрения. Резонанс от этих книг мог бы быть гораздо большим, если бы не лавина переводных публикаций, нахлынувшая на страну вследствие Перестройки, в водовороте которой внимание читателя невольно рассредотачивалось на десятки, сотни и даже тысячи имен авторов. Но каждая из указанных работ (Ф. Е. Василюка и Н. И. Сарджвеладзе) сделала серьезный шаг в развитии психологической науки, переосмыслив многие сложившиеся основания, что само по себе требует должного к ним внимания даже спустя три десятка лет и, думается, неоднократно в дальнейшем.

Первая попытка такого исследования предпринималась еще в те времена [93], когда имена названных авторов не были столь широко известны среди психологов. Важен также гносеологический фон эпохи, когда эти монографии создавались. Несомненно, он повлиял на авторов, и потому ему уделено особое внимание в предложенном читателю анализе, который не решает специальную задачу внедрения в специфический предмет психологии. Но поскольку важнее специализации по предметам специализация по проблемам, в отдельных случаях избежать такого внедрения не удалось. Хочется надеяться, что оно получилось максимально корректным и не вышло за рамки компетенции гносеологии.

«Гносеологическую емкость» проделанной им работы Ф. Е. Василюк сам вполне осознавал. Актуализацию этой «емкости» он продолжил сразу после публикации своей триумфальной монографии [42] и еще не раз возвращался к ней в течение своей жизни [41, 43, 44, 47, 48]. В том числе принял развернутое участие в коллегиальной сорефлексии в жанре, обозначенном авторами как учебное пособие [154, с. 239–304], хотя эта книга отнюдь не традиционный учебник. «По сути, она является попыткой представить новый тип методологического

сознания науки, новый вариант методологии современного гуманитарного познания, так сказать, в работе, в процессе самого познания» [156, с. 186]. Причем «коллектив, подготовивший данную книгу, последователен в реализации вышеуказанного методического приема: нетрудно заметить не только побуждающе-дискуссионный характер всей “монографии – учебного пособия”, но и дискуссии между ее отдельными разделами и даже внутри них» [156, с. 188]. Содержание книги «побуждает к участию в построении современной методологии психологии состоявшихся ученых, а значит, способствует развитию и проблематизации данного научного поля. В этом контексте классификация работы как учебного пособия приобретает дополнительный, новый смысл – мы видим первоклассную научную монографию, которая не только учит, но и исследует» [156, с. 189].

Не менее знаменательно, что тот фон в советской гносеологии, на котором Ф. Е. Василюк и Н. И. Сарджвеладзе работали, был поистине плодотворным, хотя в публикациях об отечественной философии советского периода нередко встречаются его уничижительные оценки. Конечно, идеологический надзор и давление, ограничения и репрессии – не лучшие условия для творчества, но они порождают разнообразные неочевидные и нетривиальные техники реализации свободы. Свободы, которая не оставляет тех, кто без нее не может, а если уж оставляет, то они уходят вместе...

Среди упомянутых техник – погружение ученых и философов в исследование той проблематики, в которой надзорные инстанции на какое-то, иногда весьма продолжительное, время не определились с границами дозволенного и недозволенного. Такой нишей свободы в 1960–1980-е гг. стали логика и методология науки (философия) [186], а благодаря ей и вся гносеология. Шел активный обмен (прежде всего, конечно, рецепция) с зарубежными коллегами, переводились тексты многих авторов, регулярно собирали огромное число участников форумы, вовлекая в работу молодых исследователей, заражая их атмосферой неангажированности и искреннего служения науке. Исследования опирались на значительные пласты, в том числе доступной в переводах философской и научной классики. Потому и количество, и, что

немаловажно, качество публикаций тех лет по проблемам гносеологии таково, что они остаются востребованными как в современной методологии науки, так и в гносеологии в целом. Это наблюдение наводит на любопытную и обнадеживающую мысль как о высокой жизнеспособности свободы и творчества, так и о небезнадежности изыскательных усилий исследователей в любые времена.

В данной работе представлены многочисленные выдержки из публикаций 60–80-х гг. XX в., созданных стараниями Н. Т. Абрамовой, И. А. Акчурина, В. А. Амбарцумяна, И. Д. Андреева, Л. М. Андрюхиной, А. С. Арсеньева, Г. С. Батищева, В. С. Библера, В. П. Бранского, Н. В. Бряник, Н. К. Вахтомина, П. П. Гайденко, Б. С. Грязнова, Б. С. Дынина, С. С. Гусева, А. Н. Елсукова, В. И. Еркомаишвили, Е. С. Жарикова, В. В. Ильина, В. В. Казютинского, В. Н. Карповича, И. Т. Касавина, Б. М. Кедрова, В. В. Кима, М. А. Кисселя, А. В. Козина, С. Б. Крымского, И. В. Кузнецова, С. А. Лебедева, В. А. Лекторского, И. Я. Лойфмана, Е. А. Мамчур, В. В. Маркова, И. П. Меркулова, В. С. Меськова, Л. А. Мясниковой, И. С. Нарского, Я. Г. Неуймина, Е. П. Никитина, В. Г. Панова, Б. А. Парахонского, В. В. Петрова, А. А. Печенкина, Д. В. Пивоварова, Г. И. Рузавина, Ю. В. Сачкова, В. В. Скоробогачко, Г. Л. Тульчинского, А. И. Умова, Г. Ш. Хуцишвили, В. С. Черняка, В. С. Швырева и др. Труды указанных авторов выражают исторический контекст, состояние отечественной мысли по вопросам гносеологии в эпоху рождения книг Ф. Е. Василюка и Н. И. Сарджвеладзе, сохраняют свою объяснительную силу в отношении творческой «кухни» этих психологов. Они заслуживают внимания со стороны всех, занимающихся научно-теоретическим творчеством и его философской рефлексией и сегодня, когда гносеологическая проблематика перестала быть нишей преимущественной свободы мысли и вызывает несколько меньший интерес у несклонных к ангажированности исследователей (слава Богу, на относительно продолжительное время у них появилось достаточно много других ниш).

Предлагаемый очерк – попытка актуализировать многое из сделанного отечественной гносеологией в 1960–1980-е гг. и рассматривать ее не только как плацдарм для дальнейшего движения вперед, но

и как событие, имеющее, возможно, непреходящую ценность. Мы имеем дело с доказательством того, что «традиция российского мышления не прерывалась даже в самое тяжелое для страны время». В 1960–1980-е гг. в России и вовсе происходит «третье философское пробуждение» [246, с. 80], когда «наряду с догматиками и приспособленцами творили выдающиеся умы, яркие личности» [124, с. 24]. Не подобает забывать о них, учась искусству и науке свободы и выживания, и сейчас – в эпоху (пока) не стесненных идеологическими скрепами «философских штудий» [12, с. 212], пока с исследователей не взимается «идеологический налог» (термин В. Н. Поруса).

1. ФАКТЫ КАК ИСТОЧНИК КОНЦЕПТОВ

Многие, особенно далекие от методологии науки, люди и сегодня полагают, что все научные теории представляют собой всего лишь обобщение фактов (эмпирических данных). Другие им пытаются возразить: «Научные теории не могут быть построены посредством обобщения эмпирических знаний. Для того, чтобы построить теорию, необходимо сначала найти некоторые общие понятия, принципы и гипотезы, которые, подобно аксиомам геометрии, должны быть приняты за основание дедукции» [58], т. е. требуется **движение от общих понятий к эмпирическим констатациям** по правилам логики. Выглядит это движение буквально как *порождение, нисхождение, эманация* (от позднелат. *emanatio* – истечение, распространение; от синонимичного др.-гр. ἀπόρροια, προβολή, πρόβος) *частного, случайного, неразумного из общего, необходимого, разумного, выраженного теоретическим знанием.*

Первое мнение восходит к традициям *эмпиризма*, второе – к *рационализму* (иначе говоря, теорицизму), причем не только времен Р. Декарта, но и к античному – свойственному таким его столпам, как Платон и Аристотель. Примечательно, что в своем высшем накале рационализм становится крайним мистицизмом. Это проявилось еще в *неоплатонизме*, особенно бурно развивавшемся во II–VII вв. и повлиявшем на всю последующую европейскую и арабскую философию. В сочинениях представителей данного направления эманации как раз и отведено одно из самых почетных мест, и понимается она не только гносеологически, но и вполне онтологически: все сущее мыслится в первые мгновения, мистическим образом проистекающим из мистического Первоединого (сверхразумного, «самого-самого» разумного), дедуцируясь от более к менее общему и так доходя до бесконечного множества единичного, конечного, ничемного.

Эмпиризм и рационализм (теорицизм) давно уже стали хрестоматийными понятиями, фиксируемыми, пожалуй, во всех учебных пособиях по гносеологии. Несмотря на их спор – длительный и, по-ви-

димому, уже утомивший как участников, так и тех, кто за ним следит, трудно согласиться с, казалось бы, наконец примиряющим мнением Л. Б. Баженова. Он утверждает, что традиции эмпиризма и рационализма «находятся в дополнительном (в смысле Бора) отношении» [14, с. 16], а «каждый исследователь все равно в той или иной мере будет склоняться, отдавать предпочтение либо одной, либо другой традиции» [14, с. 17]. По Л. Б. Баженову получается, что предпочтение в конечном счете произвольно, случайно, поэтому ему можно возразить: «Мы должны оценить “дополнительность” как исторически ограниченную форму “огрубления” диалектической противоречивости, соответствующую определенному уровню нашего познания» [153, с. 130].

С целью уточнения ретроспективного смысла антиномии эмпиризма и рационализма Л. Б. Баженов предложил как в классическом эмпиризме, так и в классическом рационализме различать их генетическую и методологическую разновидности [13, с. 11].

Генетический эмпиризм – позиция, выраженная таким тезисом, что опыт – это единственный источник знаний.

Методологический эмпиризм – доктрина, отрицающая конструктивную, творческую роль разума (мышления) в познании, т. е. исходящая из тезиса о чисто служебной роли мышления как средства пассивной регистрации, комбинирования и систематизации опытных данных.

По мнению же В. С. Швырева, позицией которого как раз можно проиллюстрировать версию генетического эмпиризма, существуют объективные основания для решения проблемы детерминационных, в том числе генетических связей эмпирического и теоретического уровней. Но только «о генетической первичности эмпирического перед теоретическим в прямом смысле этого выражения... можно говорить по отношению к эмпирической и теоретической стадиям науки» [240, с. 286]. Тогда получается, что научно-теоретический потенциал эмпирических знаний, проявившись однажды, когда эмпирия произвела теорию, затем почему-то потерял свое прежнее исключительное генетическое значение. По В. С. Швыреву выходит, что эмпирия, совокупность фактов, произведя теорию, тем самым произвела и способность

теории (!!!) производить эмпирию, т. е. на теоретической стадии науки теория и эмпирия находятся в отношении генетического взаимопорождения.

«Несомненно, что в... теории определяющая роль принадлежит ее теоретическим, а не эмпирическим компонентам, поскольку именно они определяют выбор и интерпретацию соответствующих эмпирических фактов» [234, с. 147]. Но так же несомненно, что никакая теория не способна породить, произвести новый факт в полном генетическом смысле этого слова, когда мы не мистифицируем разум, возводя его в инстанцию некоего сверхразума на манер неоплатоников. Если мыслить без мистицизма, то приходится признать, что научная теория способна выбирать (согласно своему предмету), описывать, прогнозировать, объяснять, интерпретировать, но ни в коем случае не порождать факты, которые в силу своей автономии, и пусть относительной, но независимости от теории являются «упрямой вещью».

Общеизвестная и общепризнаваемая автономия определяется способностью эмпирии одной своей стороной – чувственными впечатлениями – непосредственно, независимо от теоретических конструкций выходить на действительность, соприкасаться с ней и даже являться ее частью. Это чувствующая саму себя (посредством человека) реальность, что не означает, конечно, будто на теоретическом уровне чувственная компонента вовсе отсутствует.

Так, И. Я. Лойфман отмечал как существенную черту научных категорий «сочетание в них специфических элементов чувственной генерализации и абстрактно-логического обобщения» [133, с. 22].

Чувственная генерализация – это ощущения опосредованные, вспоминаемые, фантазируемые, невозможные без *абстрагирования* (отрыв, выход из непосредственного контакта с реальностью и отвлечение от одних впечатлений в пользу других). *Идеализация* – сосредоточение лишь на некоторых впечатлениях как наиболее важных, значимых, часто принимаемых за истинные, бесспорные.

Так что чувственное на уровне теории – это сильно препарированное, преобразованное, во многих случаях стерилизованное чувственное. А эмпирическое познание базируется на обязательном (созна-

ваемом) непосредственном чувственном контакте с объектом. Контакт не гарантирует зеркальности, истинности отражения, восприятия реальности. Однако именно он обеспечивает не только постоянное преодоление тенденции отрыва (отлета) знаний, особенно теоретических, от реальности в воображаемые конструкции, но и незаменимость, невосполнимость свойственного эмпирическому знанию, сопровождающего его ощущения надежности, достоверности.

Фантазии тоже могут сопровождаться ощущениями надежности, достоверности. Потому отдавать предпочтение одному из этих двух видов и уровней познания – эмпирическому или теоретическому – в качестве фундаментального (что обобщенно может быть названо позицией гносеологического монофундаментализма), значит, лишаться возможности их равноправного, взаимного и самокритичного диалога, допускающего внимание, доверие и недоверие друг другу и самому себе. Таким образом, гносеологический монофундаментализм оказывается менее убедительным, нежели гносеологический бифундаментализм и шире, чем полифундаментализм, которые не только допускают, но и признают принципиально важным разрыв (зазор) между разными уровнями и видами познания и знания. Именно в этом МЕЖДУ ожидают поводов и причин к дальнейшему, непредсказуемому их развитию, в том числе революционному.

Игнорирование автономии эмпирии ведет теорицизм к уступкам мистифицирующему разум априоризму (признанию до-, внеопытному знанию): «Теория как бы действительно является своего рода “априорным” логическим условием дальнейшего развития научного знания. Нет факта, который бы не был вовлечен в определенную теоретическую систему» [149, с. 116].

Заметим, что речь идет о факте, который уже не просто чувственное (-ые) впечатление. Факт – это осмысленное, как часто говорят, концептуально, теоретически нагруженное чувственное впечатление. Это и позволяет некоторым участникам дискуссии полагать, что вся реальная, значимая познавательная активность оказывается на стороне теории. Как бы смягчая крайность заявления о несуществовании внетеоретических фактов, цитируемое рассуждение продолжают сло-

ва: «Научный факт сам по себе, не “задействованный” в определенной теоретической системе, не представляет такого большого интереса как факт, входящий в нее» [149, с. 116]. Но это рассуждение с позиции исключительно данной определенной теории, т. е. с ограниченной позиции – такой, будто нет никаких иных теорий, существующих хотя бы в зачаточном виде, хотя бы потенциальных.

Более широкий подход показывает, что в развитии науки особый интерес вполне может вызывать именно незадействованный в определенной теоретической системе факт. «Первый повод к пересмотру какой-либо физической теории почти всегда вызывается установлением одного или нескольких фактов, которые не укладываются в рамки прежней теории» [178, с. 73]. Но этот не укладывающийся в рамки прежней теории факт потому и факт, что некоторые непосредственные чувственные данные, впечатления можно осмыслить (пусть предварительно, туманно, фрагментарно) с иной (иных) позиции. Если быть точным, то «источник беспокойства в науке... – вовсе не конфликт старой теории с новейшими фактами, т. е. не столкновение ученого с трудностями, которые, так сказать, приходят извне. В определенном смысле каждая принятая теория... имеет собственную эмпирию: фактов, которые она не ищет и не желает создать, для нее просто не существует. Источник научных новаций – в свойственном гению ощущении “несовершенности” существующих теорий и методов. Не случайно же новации имеют место не только в опытных науках» [236, с. 113].

Упомянутый гений не такой уж редкий в науке персонаж. В теории есть своя инерционность, склонность не только к развитию (саморазворачиванию), но и к замкнутости (на саму себя), к работе в режиме автоматического самоподтверждения и игнорирования всего, что с ней не согласуется, не вписывается в нее и ей не подчиняется. Ученый же редко способен к такому аутизму (невосприимчивости иного), идиотизму (гр. ἰδιώτης – частное лицо, отгородившееся от общества, от других). Хотя бы латентно, но в жизненном багаже, образовании, эрудиции всякого человека, даже если он ученый-теоретик и совсем не обязательно гений, есть альтернативные оценки, подходы, догадки, которые он все же имеет в виду, пусть даже с некоторыми совсем не

согласен, но иногда допускает их. А порой, удивляясь самому себе, и соглашается с ними. Человек – не автомат, не только алгоритмы (как некоторые склонны трактовать [228]): хочется ему иногда «по собственной глупой воле пожить» (Ф. М. Достоевский).

«Глупой» – потому что если и получающей объяснения, то только ретроспективно, если речь не о статистике «больших чисел», а о поведении отдельного человека. «Глупая» воля – не последний фактор в развитии науки. В противном случае получают версии «мировой схематики», «общих теорий всего», которые представлены и графома-нами, и гениями, например, Г. В. Ф. Гегелем, В. С. Соловьевым и мн. др. После издания полного собрания их сочинений (пусть и дополнен-ных учениками в части того, что гении не успели доделать) остается навсегда застыть в благоговении, ибо они уже все самое важное яко-бы сказали, написали, завещали. Остается этим только пользоваться, постепенно теряя способность мыслить самостоятельно. Плотно сомк-нувшись рядами, мыслить только в границах завещанного гением, толковать свободу лишь как познанную и узнанную гением необхо-димность. В общем, жить буквально в соответствии со старой армей-ской шуткой «Если вы такие умные, то почему строим не ходите?!».

Живое мышление вовсе не струится неким сплошным непроти-воречивым потоком. Такими бывают разве что искусственные теоре-тические конструкции, выстроенные (нередко вымученные) письмен-ные тексты. Но не теория сама себя мыслит, как это получилось у Г. Гегеля, назвавшего ее Абсолютной Идеей. Теория – продукт че-ловеческого мышления, которое ею отнюдь не исчерпывается. В жи-вом мышлении множество логических «прыжков» и нестыковок, раз-рывов постепенности. Тех самых МЕЖДУ, которые чреватые не толь-ко новыми оценками, подходами, ошибками, но и прорывами.

Таких прорывов немало и в самых продуманных письменных тек-стах, что порой выявляется не сразу, как это случилось с построени-ями Г. Гегеля. На них указал еще слушавший его лекции С. Кьерке-гор. Еще больше их в устных рассуждениях, в том числе в разговоре человека с самим собой, во внутреннем диалоге, который и есть жи-вое мышление. Потому-то ценно как чтение научных текстов, так и жи-

вое общение, диспуты, защиты, конференции, неформальные беседы. Они форсированно проявляют нестыковки и точки роста научного знания [185]. Так что дело не только в наличии иных по отношению к данной теории подходов.

Невозможно отрицать существование и внутритеоретических источников новаций, что порой и «ощущает» гений. В этом случае «источник беспокойства в науке» – не само «ощущение» («глупая воля») гения, а то, что оно (она) отражает, чем оно (она) вызвано. Тем более оно вполне может отражать и «столкновение с трудностями, которые приходят извне», т. е. столкновение теории с фактами, с которыми ей справиться трудно, а то и невозможно. Зато с других позиций получается, пусть и предварительное, но толкование, игнорировать которое одни ученые вольно или невольно могут, а другие – «упрямятся».

В таком гносеологическом упрямстве и столкновениях этих упрямств МЕЖДУ новаторами и консерваторами – залог развития науки. Это дотошная критическая непрекращающаяся само- и взаимопроверка, возможности которой – сердцевина того, что принято называть «академическими свободами», для которых, конечно же, нужны специальные социальные условия. Однако социум часто устроен так, что над всеми прочими голосами звучат привилегированные. Обычно один – «единственно истинный», репрессирующий все прочие голоса. Также для развития нужна потребность самого социума, множества его представителей в многоголосии.

Данной потребностью, МЕЖДУ прочим, и рожден университет как особый социальный институт. Этим «прочим», МЕЖДУ которым возник средневековый университет, были (остающиеся и по сей день) социальные институты семьи, общины, королевства, церкви и др. Университет как организованное и защищенное пространство академических свобод понадобился обществу наряду с прочими социальными институтами, которые не обеспечивали гарантированного развития мышления. А гарантировать его могли только особые условия, которые получили наименование «академических свобод».

Заметим, что сейчас в мировом и отечественном академическом сообществе растет тревога за перспективы своих свобод. Научные

и учебные организации все больше отходят от ориентиров, задаваемых образом классического университета, в качестве идеи (образца, прообраза) которого выступал Храм науки – оазис академической жизни во имя Истины и трансляции ее будущим поколениям. Академизм – интегральное свойство университетской жизни, как единодушно понималось еще совсем недавно. Даже следование пресловутому принципу партийности в советском прошлом позволяло академической общественности, держа фигу в кармане, служить Истине. Либерализация породила много светлых, а вместе с тем и ослепляющих надежд, несбыточность которых не сразу стала очевидна. Высшая школа, оценки феномена университета и в целом ситуация, в которой существует наука, в последнее время сильно меняются, вызывая острые дискуссии, влияющие на отношение к фактическому и концептуальному типам знания и уровням познания, к тем, кто ими занят. Нередко можно наблюдать пренебрежительное отношение к ученым. Поэтому обратим внимание на важнейшие академические черты университета, без понимания которых его вообще можно потерять – спустя тысячу (на самом деле – больше) [99] лет существования.

Эти черты определены далее не в строгом соответствии с логической дихотомией, а по принципу смысловых нюансировок и прибавления. Значение термина «академизм» восходит к вполне конкретному историческому явлению – Академии. Так именовалась гимназия древнегреческого философа Платона (428–346 гг. до р. Хр.) по названию местечка недалеко от Афин, где он преподавал.

Академиками стали называть сначала учеников Платона, а потом и всех его последователей. Поэтому по первому своему значению термин «академический» является синонимом *платонизма*. Дальнейшие смысловые прибавления не отменили эту исходную его связь с учением великого философа-идеалиста. Так, роль и авторитет философии Платона прибавили к смыслу слова «академический» следующие значения: *возвышенный, высший, истинный, образцовый, авторитетный, идеальный*. Чаще всего это понятие стали относить к названиям учебных заведений, ориентированных на традиции гимназии Платона и его учеников. Среди них можно, таким образом, еще раз отметить

авторитет сначала Платона, а потом *и других мэтров* – ученых-учителей, слово которых служило решающим аргументом в пользу истинности той или иной точки зрения.

В этой связи известна фраза Аристотеля – одного из бывших академиков, отошедших от некоторых положений Платона: «Платон мне друг, но истина дороже!». Вошедши в академическую традицию как второй (а иногда и первый) авторитет, тем самым Аристотель привнес в нее *право на возражение – даже авторитету – во имя истины, и обязательно – аргументированное*. Теории аргументации, кстати, Аристотель посвятил немало своих размышлений.

Аргументация, особенно противопоставляемая авторитету, может появиться лишь у добросовестного самостоятельного исследователя, так что *принцип исследовательской свободы* становится неотъемлемым от академических традиций. Свобода же исследований и аргументированной *публикации их результатов* находит необходимое продолжение в *свободном характере преподавания* со стороны учителя (впоследствии профессора), которое нужно понимать не столько как свободу для обучающихся (например, в посещении занятий), сколько как *отсутствие бюрократической опеки* преподавателей со стороны инспекторов и администраторов, блюдущих букву нормативов.

Но это и *свобода учения* демонстрирующих успехи учеников. Мера ее должна напрямую зависеть от успехов. Успехи же возможно предъявлять на строгий *суд академической общественности*, только имея гарантии их публикации. Так что уже упоминавшаяся публичность (выступления устные и письменные, защиты, диспуты, конференции и т. д.) является тем более важным, обязательным признаком академичности.

Итак, **академическим** можно назвать образование, которое опирается на авторитет ученых-учителей, допускающих и даже поощряющих самостоятельную познавательную активность обучающихся, имеющих гарантированную возможность широкой и регулярной публикации своих достижений, соображений и даже сомнений, предъявляемых не голословно, а в сопровождении принимаемой академическим сообществом аргументации.

Наличие *академического сообщества* – весьма важный фактор, обеспечивающий существование, трансляцию, воспроизводство академических традиций. В средние века произошла институционализация этих сообществ в университеты, которые и теперь рассматриваются как важнейшие субъекты академической жизни. Подлинный же субъект всегда автономен, поэтому вместе с университетами возникла тема их автономии как условия обеспечения непрерывности академических традиций и ставшего традиционным идеала университета, а также академической свободы (свобод) членов университетского сообщества, прежде всего, профессоров. С академической свободой и сегодня связаны надежды на будущее университета.

Сама университетская автономия возникла в своеобразном зазоре – в МЕЖДУ, образовавшемся в результате перманентного и неравновесного столкновения трех основных политических сил Средневековья:

- крепнущие королевства (ставшие затем национальными государствами);
- Католическая церковь (обремененная нерешаемым вопросом о том, чего в ее природе больше – небесного или земного, но зато обеспечившая транснациональный характер европейской науки);
- города (определившие в конце концов новоевропейский тип цивилизации).

Немаловажным вопросом в осмыслении прошлого и будущего университета, науки и высшей школы, конечно же, является их финансово-экономическая база. Финансовым источником университетской автономии считались пожертвования, дары, привилегии, предоставляемые в разные времена и в разной степени всеми тремя главными политическими (и экономическими) силами, к которым присоединялись меценаты и изредка сами студенты. Так, решающим условием университетской автономии была непосредственная необремененность каждодневными поисками источников существования.

Власть в университетах принадлежала не хозяйственникам, а выдвинутым академического сообщества: поначалу – студентам, по-

просту нанимавшим и изгонявшим профессоров, а со временем – ученым-мэтрам (по крайней мере, такова была доминирующая тенденция).

Именно университетская автономия делала возможными различные академические свободы, о чем свидетельствует литература, мало актуализированная в отечественном академическом сообществе [26, 30, 49, 50, 63, 64, 67, 68, 74, 75, 85, 102, 107, 111, 123, 167, 170, 172, 174, 175, 176, 196, 207, 211, 112, 213, 214, 215, 217, 249, 250, 251, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274].

С большими или меньшими искажениями в разные периоды своей истории принципы университетской автономии и академической свободы прививались и в российских университетах, впрочем, всегда в какой-то степени подчиненных государству, пока с ними по-свойски не обошлись пришедшие к власти большевики. Однако и сегодня многие полагают, что идеальный и потому «автономный университет находится... *за пределами* государства (именно это должно быть четко и однозначно закреплено в статусе Нового Университета), т. е. вне органов государственной власти и управления, поэтому он не нуждается ни в чьей оценке: ни в государственной, ни в общественной. Он сам предназначен для порождения и перепроектирования и государства, и общественных систем. И последние не смеют ему отказывать в проведении этой деятельности» [187].

Заметим, таких идеальных университетов в реальности никогда не было, потому В. А. Проскурин и грезит не о реставрации классического университета, а о создании Нового Университета. Даже открытый в 1809 г. В. фон Гумбольдтом «идеальный» Берлинский университет не являлся идеальным.

Университет реально может существовать только в межинституциональном пространстве как один среди (МЕЖДУ) других социальных институтов. Не подчиненный ни одному из них, но тесно с ними взаимодействующий, в том числе полемизирующий, критикующий, предлагающий к обсуждению и к критике свои версии общественного развития. Это называют «третьей миссией» университета, а университет, выполняющий все три миссии (*научная, образовательная, социальная*), именуют «университет 3.0» [158, 165, 166].

Современный университет значительно отличается от своих исторических предшественников, тем более от того, чем они стремились быть – от идеала, на который ориентировались. «Сегодня мы повсеместно наблюдаем процесс превращения университета из храма науки в market place, торговую площадку, в экономическую “корпорацию по продаже знаний”» [183, 184].

Сегодня вузы, точнее, их руководство, заняты финансовым выживанием, а профессура (преподавательский корпус) пока еще выступает главным инструментом в этом не самом академическом деле, в связи с чем в профессорско-преподавательской, особенно ветеранской среде говорят о «руинизации классического университета» [271]. Это значит, в условиях конкуренции, низкой платежеспособности населения и, как следствие, невозможности установления высокой цены на образование современному отечественному вузу требуется заполучить больше студентов и соответственно преподавателей. Из-за высокой учебной нагрузки практически некогда заниматься научными изысканиями (дай Бог сил на их имитацию), а многие нынешние вузовские преподаватели эти изыскания и на зуб не пробовали. Возможно, вузы, в том числе университеты, окончательно перестали быть социальными институтами, занятыми по преимуществу академической деятельностью. Закономерно, что доминирующее положение там все чаще получают хозяйственники и менеджеры, близко знакомые с реалиями рыночной прохиндеады.

Академической же деятельностью в современном вузе в лучшем случае заняты отдельные (все более «отдельные», редующие) его подразделения – по инерции и в силу присутствия в них преподавателей-ученых. Большой частью имеют отношение к науке именно единичные вузовские работники, причем институциональная принадлежность к конкретному вузу совершенно безразлична. Прежде всего смысл имеет содержание их научной деятельности, благо современные средства коммуникации позволяют состоять в общении с коллегами по всему миру.

Получается, что сегодня мы имеем дело с деинституционализацией академической жизни. В вузах она стала явной (мы не имеем

в виду бюрократическую отчетность «по науке»), в научно-исследовательских учреждениях – не столь явной (хотя и там начальству интересны результаты, имеющие отношение только к госбюджетной или хоздоговорной, «высочайше» утвержденной теме). Упадок академической жизни уже сильно заботит даже российское правительство, коль скоро оно ищет способы дифференцировать вузы (по сути, на настоящие и Бог весть какие); реформировать РАН и иные академии, а также входящие в них учреждения; поддержать материально трудящихся, имеющих ученые степени, и т. д.

Однако дело осложняется тем, что кроме научной эффективности вузы должны демонстрировать *высокое качество образования*. Хотя оно и входит в состав понятия академической жизни и сильно зависит от научно-исследовательской составляющей, но все же с ней не совпадает. А главное, качество образования – это загадка, у которой слишком много отгадок, чтобы поверить хотя бы одной из них [101].

В контексте же современных тенденций академическое сообщество остается свободным, добросовестным, критичным и самокритичным. Преимущественно за институциональными стенами вузов и научных учреждений сохраняет свое значение рефлексия типов знания и уровней познания; возможностей, пределов и роли фактов, концептов, теорий; условий и трансляции роста научного знания. Как ни странно, в 1960–1980-е гг. советской истории этой рефлексии уделялось повышенное внимание: активно публиковались статьи и монографии, регулярно проводились конференции с большим числом участников. Конечно, на это влияло отсутствие выраженного интереса к научно-методологической рефлексии со стороны партийно-государственных органов, но сказывались и вполне благополучные финансово-экономические условия жизни советских ученых.

Финансовые трудности современного университета, научных учреждений и трудящихся научных масс серьезно способствовали осознанию академическим сообществом своей несамодостаточности, т. е. отсутствия надежного фундамента в нем самом и зависимости от иных основ, институтов. В результате – восприятие *полифундаментализма* как нормы. С этим было непросто и в советские времена. Принцип

монизма являлся не только идеологически декларируемым, но и искренне принимаемым подавляющим большинством работников науки и образования. Удивительно, но *монофундаментализм* долго не осознавался ими как ориентир, не соответствующий академическим свободам (возможно, все же сказывалась их нехватка в условиях тотального огосударствления). Поиски непременно единства во всем, восходящие к архаическому мышлению и так ярко проявившие себя в неоплатонизме, были доминирующей идеей даже в среде, где свобода суждений (а стало быть, уже не единство, а множественность) считалась бесспорной ценностью. Наконец-то к концу XX в. затянувшиеся методологические метания от теорицизма к эмпиризму и обратно получили объяснение: в споре «кто лучше?» лучшими оказались оба, как блондинка и брюнетка в известном анекдоте.

Бесплодность попытки уйти от эмпиристского монофундаментализма посредством теорицистского монофундаментализма продемонстрирована довольно длительной историей рационализма, так и не вытеснившего эмпиризм. А последний опирался на общее признание того, что в первую очередь именно факты, особенно новые и труднообъяснимые, стимулируют работу по их теоретической ассимиляции. Далеко не всегда она удается средствами какой-то одной, предпочитаемой теории и даже с помощью всех наличных научных теорий. И тогда ученые сознательно обращаются к сфере концептуального знания, более широкой, чем совокупность научных теорий, гораздо более (в сравнении с любой теорией) интегрированной в живую ткань культуры.

Концептуальное знание, которое порой несправедливо относят лишь к разряду предпосылочного [5, с. 112], представляет собой самостоятельную и устойчивую часть человеческих знаний, достаточно независимую от чувственных данных, но активно на них влияющую. В противоположность сенсуалистски-эмпиристской традиции еще Платон утверждал: «Самым безукоризненным образом разрешит... задачу (истинного познания – *авт.*) тот, кто подходит к каждой вещи средствами одной лишь мысли (насколько это возможно), не привлекая в ходе размышления ни зрения, ни иного какого чувства» [180, с. 24]. Концептуальное знание – это не только теории, но и концепты как его

элементарная форма (от лат. *conceptus* – схватка, замысел, зачатие, схваченный умом смысл). «Процесс познания человека, заключающийся в развитии его умения ориентироваться в самом широком понимании этого слова в мире, является процессом образования смыслов, или концептов, об объектах познания, как процесс построения информации о них. Эта информация относительно актуального или возможного положения вещей в мире... и есть то, что мы называем “смыслом” или “концептом”. Более строго концепт можно рассматривать как интенциональную функцию, определяющую множество объектов, или предметов» [171, с. 101–102].

Построение научной теории невозможно без использования соответствующего развитого языка, который хранит и актуализирует концепты в ходе их использования носителями языка, что и породило справедливое наблюдение: не столько мы говорим и мыслим языком (с помощью языка), сколько язык говорит и мыслит нами (М. Хайдеггер). Об этом еще раньше писал Р. М. Рильке: «Мы лишь уста, Но Кто поет?!..». То же отмечал В. П. Руднев: «Реальность... – это в принципе языковое явление, результат постепенного соглашения между людьми, которое развивалось на протяжении многих тысячелетий» [193, с. 2].

Но «еще до знакомства с языком человек в определенной степени знакомится с миром, познает его; благодаря известным каналам чувственного восприятия мира он располагает (истинной или ложной) информацией о нем, различает и отождествляет объекты своего познания. Усвоение любой новой информации о мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже располагает. Образующаяся таким образом система информации о мире и есть конструируемая им концептуальная система... Построение такой системы до усвоения языка есть невербальный этап ее образования. На этом этапе человек знакомится с объектами, доступными непосредственному восприятию» [171, с. 101]. Так, концептуальные «вершины» знания оказываются не только в опосредованной, но и в самой непосредственной изначальной связи с чувственностью. При этом важно помнить, что и «чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, всегда равная себе вещь... что она есть продукт про-

мышленности и общественного состояния... результат деятельности целого ряда поколений» [145, с. 42].

Итак, в онтогенезе концепты складываются на стадии довербальной чувственности под влиянием окружающей и воздействующей на человека предметности, созданной промышленностью и общественным состоянием, деятельностью целого ряда поколений, следующих, в свою очередь, тем или иным концептуальным соображением. А вскоре к этому процессу в качестве необычайно активного фактора присоединяется язык, умножающий многообразие доступных каждому человеку концептов. Так что они – результат (чаще неосознаваемый) социализации, включенности человека в тот или иной социум, в ту или иную культуру и предметно-чувственно, и через язык. «В их основе лежит объективно существующая и являющаяся продуктом совместной деятельности человечества система значений (А. Н. Леонтьев), опредмеченных в той или иной культуре в виде различных схем поведения, социальных норм и т. п.», зачастую они «представляют собой усвоенные субъектом как членом той или иной группы образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых на его деятельность актуально не осознается и не контролируется им. Эти образцы... усваиваясь через такие механизмы социализации, как подражание и идентификация, определяют особенности поведения (и видения мира – *авт.*) субъекта именно как представителя данной социальной общности» [10, с. 83]. Концепты как бы извлекаются из культуры, из коллективной социальной памяти (включающей не только и не столько бывшее с социумом, сколько воображаемое и чаемое), специфицируясь в индивидуальном сознании, изменяясь при осмыслении бесконечно многообразной действительности.

Логически же концепт – это универсалия некоторого уровня обобщения. «В качестве идеального объекта она столь же конкретна, единична, уникальна, как и любая уникалия... Будучи уникальным идеальным объектом, отражающим и представляющим бесконечное множество внешних объектов определенного типа, универсалия тем самым является по отношению к ним как бы эталоном» [160, с. 34]. Соотнося и идентифицируя некоторый предмет с эталоном, субъект отражает, осознает значение предмета, осмысляя его, т. е. наделяя смыс-

лом – тем же смыслом, который имеет и эталон. Общее (смысл эталона) «проникает» в единичное тело через идентификацию последнего с эталоном.

Указанное смыслотворчество – превращенное продолжение практического творчества. «Осмысление – это та сторона познания, которая не только вписывает знание в контекст общественной практики, но и обосновывает цели практической деятельности, ее программирование, формирование и реализацию замыслов, планов и идей. Осмысление начинается там, где кончается простое отражение, а кончается там, где начинается сама практическая деятельность» [210, с. 5–6]. Концепт – это то, что К. Маркс называл «хаотическим представлением о целом» [146, с. 37], В. С. Библер [29], А. С. Арсеньев и Б. М. Кедров [9] – понятием, Ф. Е. Василюк – «интуитивно понятной идеей» [46, с. 14]. Смысл концептуального эталона закрепляется в языке. Осмысление других чувственно воспринимаемых объектов происходит через соотнесение и идентификацию со смыслом эталона. Концепт задает видение, определяет подход к рассматриваемой, исследуемой реальности.

Здесь не имеет значения, является ли концепт неразвитым, полуинтуитивным или развернутым в сложное теоретическое построение. Необходимость в новом концептуальном подходе очень часто диктуется фактами, сконструированными на пересечении чувственных впечатлений и существующих концептов – МЕЖДУ ними всеми. Само собой, в условиях академических свобод вариантов, пространств и поводов для этих МЕЖДУ неизмеримо больше, чем в зажатой, заданной, тенденциозной общественной обстановке. Эти концепты, одновременно «заземленные» на одни и те же чувственные впечатления, чувственные данные, могут вызывать у человека тот самый знаменитый «когнитивный диссонанс», что часто и дает «толчок» к поиску иного смысла, иного концепта, который бы снял, примирил неустраивающий диссонанс.

Вот пример из профессиональной практики одного из советских психологов 1980-х гг.: «Еще не вполне ясны конкретные организационные формы выделения “личностной” психологической службы в самостоятельную практику, но каковы бы они ни были, сам факт ее появления ставит перед общей психологией задачу разработки принци-

пиальных теоретических основ, которыми эта практика могла бы руководствоваться» [46, с. 9]. Дело не только в факте наличия практической задачи, хотя она преумножает необходимость в адекватной научной теории. Дело в том, что уже существующая локально психологическая служба далеко не всегда способна помочь людям в преодолении, например, критических ситуаций зачастую именно в силу отсутствия удовлетворительной теории, объясняющей генезис, структуру и возможности преодоления психологических кризисов. Фактов же, относящихся к указанной проблеме, такое множество, что они не требуют особого представления.

Именно такие факты и побуждают Ф. Е. Василюка к их теоретической проработке: «наука начинается с выбора фактов» [199, с. 37]. И выбор этот происходит по концептуальным основаниям – порой смутным, полуинтуитивным, сопрягающим мысль и с индивидуальным, чувственно-окрашенным опытом человека, и с коллективным, форсированно актуализируемым академическим общением или латентно хранимым языком концептуальным богатством, доступом к которому служат образование, эрудиция, общая культура исследователя и степень его академической свободы [100].

Давно известные многочисленные факты неуспешного, а особенно успешного переживания людьми различных критических состояний не вписывались удовлетворительным образом ни в одну из многочисленных специальных психологических теорий, восходящих к рефлексологии, психоанализу, бихевиоризму, вызывая недоверие к последним. В них оставалось «нечто», требующее целостного переосмысления. Так, сочетанием сильной мотивированности к достижению определенной цели и преодолению препятствий на пути к ней объясняется природа фрустрации [15, 122, 138, 139]. Но вполне известные факты свидетельствуют и о преодолении значительных трудностей без всяких фрустраций. Значит, *фрустрированность* – не просто следствие сочетания сильной мотивированности и затрудненности. Как раз этот момент не отмечался в имевшейся литературе, которая ограничивалась констатацией трудности как причины фрустрации и сразу описывала появление этого состояния. Однако сами по себе проявления, та-

кие как беспокойство, напряжение, чувства апатии, безысходности, вины, ярости и т. д., отнюдь не свидетельствуют об обязательном наличии фрустрации как логически (у разных существ могут быть сходные проявления), так и эмпирически (давно известен факт «добровольного усиления рефлексов» [114, с. 74]).

Совершенствование личности, в том числе и самосовершенствование – также непреложный факт, нечасто попадавший, однако, в поле зрения теоретиков, пытающихся объяснить преодоление человеком кризисной ситуации. Преодоление трактуется как средство, повышающее адаптивные возможности субъекта [113], а в лучшем случае служащее для устранения или компенсации помех самоактуализации [169]. Но никогда как процесс, способный внести в совершенствование личности самостоятельный позитивный и незаменимый вклад, описанный у бунинского героя, вспоминавшего об аресте брата и говорившего, что событие это «пережито мной было не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил» [37, с. 157]. Главную же неудовлетворенность в области психологии преодоления критических ситуаций вызывало следующее: теория психологической защиты не содержала предположений явных или неявных, которые бы ограничивали класс защитных механизмов, и между ними не удавалось бы провести четких и ясных границ, т. е. фактический материал схватывался существовавшими теориями весьма приблизительно. Удовлетворительной такая ситуация быть не могла, особенно при попытках помочь людям, попавшим в тяжелую кризисную ситуацию и крайне болезненно, подчас разрушительно в отношении самих себя на нее среагировавшим.

Концептуальное переосмысление редко происходит вследствие инсайта. Впрочем, и он – результат скрытой, внутренней, обычно длительной и даже изнурительной работы, поиска, в том числе попыток опереться на нетрадиционный для исследуемой области подход по принципу «новое – это хорошо забытое старое» или, точнее, «новое – это неожиданно примененное старое». Так, Ф. Е. Василюк подошел к решению возникшей перед ним задачи переосмысления фактов из сферы преодоления психологических кризисов не с позиции имеющихся (диссонирующих между собой и не отличающихся полнотой и точностью) тео-

рий, а с позиции общей психологии, что и вызвало далеко идущие следствия. Причем, сделав выбор в пользу общей, а не специальной теории, он на самом деле предпочел теорию деятельности как имеющую, с его точки зрения, статус общепсихологической. В этом, безусловно, сыграла свою роль принадлежность Ф. Е. Василюка к научной школе А. Н. Леонтьева, под руководством которого и начиналось данное исследование.

Выбор дал оригинальную концептуальную интерпретацию того эмпирического материала, который традиционно назывался и сейчас часто называется «переживанием». Но даже сам «термин “переживание” используется нами не в привычном для научной психологии смысле как непосредственная, чаще всего эмоциональная форма данности субъекту содержания его сознания, а для обозначения особой внутренней деятельности, внутренней работы, с помощью которой человеку удастся перенести те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и положения, восстановить утраченное душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией» [46, с. 12]. Переживание Василюк трактует как особую деятельность наряду с практической и познавательной, дополняя их перечень [46, с. 12, 13] – таков новый, поначалу представший лишь как заимствованный, концепт.

Переживание как вид деятельности отличается автором, прежде всего, по продукту: он всегда есть *нечто внутреннее* (душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и т. д.) – в отличие от внешнего продукта практической деятельности и *нечто субъективное* – в отличие от внутреннего, но объективного (отнесенного, ориентированного на внешнее) продукта познавательной деятельности [46, с. 13]. Продукт переживания – смысл [46, с. 28]. Так, пока рассмотрение особой предметной области (кризисы и их переживание) не получило собственной теории, она трактуется в более широких рамках теории деятельности.

Следующим, еще более смелым шагом стало признание не вписывающихся в традиционную теоретико-деятельностную картину фактов:

1) случай «психологического выхода», который нашли узники Шлиссельбургской крепости, чтобы пережить необходимость исполнения принудительного бессмысленного труда [125, с. 22];

- 2) факт «дезинтегрированности сознания» [126, с. 314];
- 3) кризисы развития личности [80];
- 4) конфликты личностных смыслов [204, с. 101] и др.

Теория деятельности в отношении этих фактов в начале 1980-х гг. не отличалась от иных, в том числе специальных психологических теорий. Она не давала их удовлетворительной интерпретации, а сторонники теории деятельности старались не обращать на них внимания. Тем более что в отличие от специально-психологических теорий теория деятельности имела серьезные успехи в других областях. До Ф. Е. Василюка с позиций теории деятельности даже не задавался самый главный вопрос: как человек выходит из кризиса?

Конкретного предметного действия, которое бы разрешило кризисную ситуацию, нет. Равно бессильны и рациональные, и эмоциональные отражения кризиса. Человек может точно понимать, что произошло в его жизни, но подлинная проблема, стоящая перед ним, ее критический пункт состоят не в осознании смысла ситуации, не в выявлении скрытого, но имеющегося смысла, а в его созидании, смыслопорождении, смыслостроительстве. Такая ситуация для человека бессмысленна, т. е. она не является смыслообразующим мотивом, в ней его, с точки зрения теории деятельности, нет. Человеку необходимо преодолеть эту бессмыслицу, создав на месте разрушенного новый смысл. Значит, теория деятельности в том виде, в каком она существовала в начале 1980-х гг., не просто «не замечала» указанные факты, а не справлялась с ними. Ф. Е. Василюк довольно компромиссно, а впоследствии дипломатично объясняет этот пробел теории деятельности как «внутреннюю нужду системы в новой категории» [41, с. 22], которую он и вводит, употребляя совсем не новый термин «переживание» в новом значении смыслопорождения, смыслосозидания как особой деятельности субъекта с целью удовлетворительного объяснения, в частности, отмеченных выше фактов.

Итак, факты «требуют» более глубокого осмысления (переосмысления), отвергая имеющиеся смыслы как неудовлетворительные, во всяком случае неполные, которые в свете нового концептуального подхода нуждаются в дополнении, конкретизации, спецификации. Факты не порождают теории, не порождают концепты. Они могут побуждать к их

поиску, будучи сами концептуально обработанными чувственными данными, нередко – поликонцептуально обработанными. В этом смысле факты – источники концептов. Именно внутри такой поликонцептуальности (МЕЖконцептуальности) возможен диссонанс, избавление от которого и движет поиском, начатым исследователем. Поначалу – поиском иного концептуального подхода, который бы пролил новый свет на исследуемый предмет, на эмпирический уровень знаний о нем, на имеющиеся теоретические построения по его поводу.

Новый концепт и опирающийся на него новый концептуальный подход – лишь этап формирования, а не сама новая научная теория. Так, в рамках деятельностного подхода к фактам психологического кризиса и его переживаний возникают весьма существенные вопросы: в чем смысл смыслотворчества? что его мотивирует? Если отсутствие предмета, то либо переживание – не деятельность, поскольку последнюю всегда мотивирует предмет (материальный или идеальный), а не его отсутствие. Либо же деятельность может быть мотивирована не предметом, что подрывает основы самой теории деятельности. Новый концепт, явившийся в результате переосмысления «трудных», «неудобных» для старых теорий фактов, не только способствует решению поставленных ранее вопросов, но неизбежно ведет к появлению новых.

Ф. Е. Василюк пошел недопустимым для сложившейся к началу 1980-х гг. теории деятельности путем признания не мотивированной предметом деятельности. Это позволило специфицировать переживание как особую деятельность не только по продукту (смыслу), на что указывает сам теоретик [46, с. 13, 28], но и по мотиву. Причем главным образом по мотиву, ибо здесь мотив – не некоторый предмет, а вообще не предмет. Понятно, что традиционный деятельностный подход для решения этой затруднительной теоретической ситуации был недостаточен, т. е., строго говоря, теория деятельности в существовавшем виде принципиально не справлялась с теми фактами, которые относятся к области психологии преодоления кризиса.

Однако теория деятельности выступила здесь лишь в роли концептуального подхода, а подход еще не есть новая теория. Чтобы перейти от первого, во многом вызванного, как было показано выше,

фактическим материалом, ко второму, нужна дополнительная энергия переосмысления, которая бы могла трансформировать сыгравший свою эвристическую роль концептуальный подход в новое концептуальное *видение*, превратив его в «строительный материал» новой научной теории с вызвавшими весь этот процесс фактами. Такой энергией обладает особая – конструктивная – идея.

Концептуальное переосмысление – результат взаимодействия гетерогенных подсистем неоднородной информационной системы [135, 136, 137]. Но мало опоры лишь на одну теорию, ранее не применявшуюся к исследуемой области. Продуктивной оказывается МЕЖконцептуальная совокупность, соединяемые в единую систему мысли разные концепции как некие ее подсистемы.

Еще раз обратим внимание, насколько продуктивнее для развития науки ситуация свободного академического общения по-разному мыслящих исследователей. Каждый из них должен иметь возможность не только публичного предъявления своих размышлений, но и пространство, и время на келейную, уединенную их стадию. Озарение приходит в голову не обязательно во время диспута, ведь «будучи гетерогенными и неизоморфными друг другу, подсистемы порознь должны быть изоморфны системе иного, более высокого уровня. Всякое знание, фигурирующее в диалоге, обращаясь к непосредственному адресату, обращается также и к некоему “третьему” – “свидетелю” и “авторитету”, к которому апеллируют обе стороны диалогического взаимодействия» [210, с. 126]. И затем с этим уже можно выйти к коллегам. Так, две концептуальные (или более) подсистемы, обращающиеся к эквивалентной эмпирии, вступают во взаимодействие, и связь МЕЖДУ ними может стать источником новой научной теории. Вступают они во взаимодействие в свете некоторой вдохновившей сначала одного из исследователей идеи как необходимого для него «третьего», «свидетеля» и «авторитета». Иногда требуется немало времени, чтобы коллеги не просто смогли послушать новатора, но и услышать, понять, тем более поддержать. В этот период единственным его «утешителем» остается идея, захватившая ум.

2. ЭНЕРГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ

Первые импульсы концептуальным поискам обычно придают неудовлетворительным образом осмысляемые, сопротивляющиеся наличным вариантам осмысления факты. Но найденный новый концепт приносит удовлетворение, и на этом исследователь, мыслитель может успокоиться, а поиск – завершиться. Поэтому далеко не всегда концепт разворачивается в теорию. Это весьма трудо- и энергоемкий процесс, сопряженный с разнообразными, а не только позитивными эмоциями. Движение от концепта к теории, ее требующее значительного напряжения построение невозможно без особой интеллектуальной подпитки, вдохновения и дерзновения. Энергию им придает **эвристическая и конструктивная идея** – захватывающая исследователя, вдохновляющая, зовущая и ведущая его, не отпускающая, интригующая, обязывающая.

При всей многоаспектности феномена идеи, объясняющей многообразие его трактовок, важно прислушаться к настоятельной просьбе И. Канта: «Я прошу тех, кому дорога философия... взять под свою защиту термин “идея” в его первоначальном значении, чтобы он не смешивался более с другими терминами, которыми обычно без всякого разбора обозначают всевозможные виды представлений, и чтобы наука не страдала от этого» [87, с. 354]. Так, Платон считал идею неизменной умопостигаемой сущностью [179, с. 411–412]. Критическое уточнение Аристотеля, что идея суть форма знания, затенило ее важнейшие черты, подмеченные Платоном, и это в свое время позволило Дж. Беркли отождествить идею с ощущением, что было поддержано даже Д. Юмом [247, с. 21], не говоря о многих других. Возрождение платоновского взгляда, но все же с учетом небесспорного уточнения Аристотеля, встречается у Г. В. Лейбница, который истолковывал идею как продукт чистого разума, заложенный в нем до опыта. Того же взгляда придерживается и И. Кант, полагая, что идея – такое понятие разума, которое выводит его за пределы всякого возможного опыта.

Самое важное в восходящем к Платону понимании идеи то, что она не воплощается в некоторый конечный образ, не сливается даже с той самой генерализованной чувственностью, о которой писал И. Я. Лойфман [131, 132, 133]. В отличие от концепта, соотнесенного и привязанного к определенному чувственному образу, а потому и статичного, идея как бы пронзает эти чувственные соотнесения, не останавливаясь ни на одном из них, ни на их совокупности. Она является трансчувственным, трансцендентальным (от лат. *transcendens* – «выходящий за пределы») образом, а потому и над-, метачувственным, не сводимым ни к каким окончательным версиям. Продолжает и в известной мере завершает, логически заостряя, это понимание Г. В. Ф. Гегель, толкующий идею как «адекватное понятие, объективно истинное или истинное как таковое» [61, с. 209]. Поэтому идея часто определяется так: гипостазированное понятие, концепт, который ни от чего не зависит и, наоборот, в свете которого способна изменяться не только оценка, но и восприятие предмета. Сам предмет может представлять как (всего лишь) ее (частное) воплощение.

Во всяком случае «идею не следует понимать как идею *о* чем-то» [62, с. 400] – это принципиально важный момент, подмеченный еще Платоном, но не всеми его последователями и тем более критиками. Термин «идея» требует после себя не предложного, а родительного падежа.

Предложный предполагает границу: русский предлог «о» [54], уже своим видом исчерпывающе говорящий о себе, очерчивает линией овала, круга границы значения того, что названо идеей, улавливая и замыкая его в них. Сама же граница, замкнутая на себя, предстает как бесконечное кружение одного и того же – «дурная бесконечность» (по Г. Гегелю), безразличная и к тому, что внутри, и к тому, что вне ее.

Родительный падеж с вопросом «чего» – другая история. Идея «чего-то» – это то, что Аристотель назвал категориями: «сущность», «время», «место», «отношение»... Затем к ним прибавились «необходимость», «случайность», «причина» и др... Это такие понятия, которые нельзя определить, потому что для определения нужно простран-

ство, в котором этот предел очерчивается. Определения осуществляют в два приема:

- указывают род (нечто более общее, частью чего является определяемое);
- демонстрируют его видовое отличие от других «нечто», включенных в это общее.

Но для категорий, для того, что они обозначают, нет чего-то более общего по значению. Это они – предельно (максимально) общее.

Идея есть форма мысли, в которой последняя приобретает статус бесконечности. Именно в этой форме мысль остается в культуре, а не умирает вслед за переосмыслением ее предмета (как, например, умер концепт «флогистон» в отношении процесса горения). Бессмертны идеи справедливости, гармонии, атома, эволюции, свободы... Толкуют их всегда неоднозначно, но самое главное – никогда не исчерпывающе. Они пребывают в социальной памяти и сами детерминируют мышление новых и новых поколений, новых своих толкователей. Это относится не только к проясненным длительной историей идеям. Идея, однажды возникнув, уже в силу своей формы служит основанием всевозможных ассоциаций, нередко плодотворных аналогий. Так, лежащая в основе современной квантовой физики отнюдь не новая (вспомним атомизм Демокрита, Левкиппа) идея дискретности (неконтинуальности) сущего служит источником целого спектра эвристических аналогий в отношении проблемы бессознательного [222, с. 341]:

- теорема о передвижении границ и взаимоотношение наблюдателя и наблюдаемого;
- отношение классической физики к квантовой и отношение сознательного к бессознательному;
- квантовые принципы композиции амплитуд вероятности и связанные с ними голографические принципы организации информации;
- квантовая логика и неклассическая, и «иная» логика бессознательного;
- толерантные пространства и размытые множества – физическая непрерывность;
- предгеометрия Дж. А. Уилера и предречевая форма мышления.

Необходимо также учитывать, что значения слов весьма подвижны из-за влияния словоупотребления. Зазор между значениями и терминами затрудняет не только межнациональное взаимопонимание, но и понимание внутри одного и того же языка – тоже живого, подвижного и потому неоднозначного. Автоматические, стремящиеся к однозначности переводы, толкования крайне грубы, примитивны. Даже их усовершенствованные современные версии, учитывающие контекст словоупотребления, не могут учесть язык в той степени, на которую автоматически же (!) способен человек-носитель языка в силу его погруженности в социум-носитель, в силу образованности, интонационной чуткости и многих других факторов. Живая коммуникация не ограничивается окостеневшими значениями; ее плоть соткана из бесчисленных и подвижных нюансов. Поэтому именуемая в одной языковой традиции, например, русской, «идеей», в другой традиции, например, восходящей к латинскому словоупотреблению, ее могут именовать «концептом», как в некоторых западноевропейских языках. К. Юнг попытался обойти эту разноголосицу, воспользовавшись ставшим весьма популярным благодаря ему термином «архетип» (от др.-гр. ἄρχετυπον – первообраз, прообраз, пра-образ, изначальный образ-и-потому-образец), в итоге лишь усилив ее.

Но чем примитивнее мышление, тем больше оно раздражается от многозначности и полилингвистичности. Такое мышление и убивает науку. Тем не менее сама она, как и все прочее в культуре, восходит к седой, нередко примитивной древности, которая в отдельных пластах мышления сохраняется и вряд ли может быть преходящей. Потому, например, и сегодня продолжает обращать на себя внимание фраза, сказанная столетие назад: «Едва ли не самой важной и вместе с тем самой тревожной особенностью современной политической жизни является возникновение новой силы – силы мифологического мышления» [90, с. 153]. Когда Э. Кассирер бил о том тревогу, еще многим представлялось, что окончательная демифологизация мышления возможна с помощью науки и просвещения, прежде всего. Сегодня таких оптимистов заметно поубавилось. Это значит, что наука, академическое сообщество, академические свободы нуждаются в нешуточной защите. Либо их не станет. Ими, правда, могут назвать что-то другое. Но оно этим другим и будет.

Итак, уйдя далеко от архаики, в своих истоках и основах научное мышление имеет ее же [174]. Во второй половине XX в. в академическом сообществе все меньшей респектабельностью стало пользоваться античное противопоставление γνῶσις (подлинное знание, знание достойных его) и δόξα (общепринятое мнение, стереотипы, предрассудки), с чего мы и начали наш текст. Дело не столько в размывании их границ, сколько в признании глубокой социокультурной и онтогенетической укорененности любого исследователя, мыслителя в δόξα. Идеи в значительной части – бесценное, но и амбивалентное, небезопасное наследие архаики, которое живет во многих артефактах (предметах), в транслируемых воспитанием моделях отношений и поведения и, конечно же, в языке – в множестве всех языков человечества, часть из которых уже безвозвратно потеряна.

Архаичное мышление, которое несем мы все, «отличается синкретизмом, восприятием картин, рожденных творческим воображением человека в качестве “неопровержимых фактов бытия”» [134, с. 270], т. е. характеризуется инерционностью [52, 53], косностью, догматизмом. Идеи нередко иллюстрируются такими «неопровержимыми» картинками. Одна из них – древняя идея собственного превосходства, по крайней мере, над земными существами. В связи с ней Т. Лессинг пародировал (тоже ироничное) определение человека, высказанное Платоном: «двуногое без перьев», к которому Аристотелем прибавлено: «но с плоскими ногтями». Сам же Т. Лессинг определил человека как «лысую и хищную обезьяну с манией величия».

Но подобные шутки по поводу идей, архетипов редки, а чаще горьки. Надолго и всерьез идея модифицируется (конкретизируется), например, в версии расового, классового, национального, религиозно-идеологического и разного другого, но обязательно – превосходства, опираясь на фантазийно-мифологическую основу, которая никогда не нуждается в доказательствах, да и не является доказуемой, будучи сама опорой доказательств.

Особенно дорога современному цивилизованному человечеству идея права на достойное человеческое существование, но и она тоже оказывается не свободной от фантазийно-мифологической основы [95].

Потому и реализуется, кстати, не столько практически, сколько «на бумаге» – в текстах правовых и политических документов, являя собой инерционно сохраняющуюся древнюю мифологему, которая тем не менее активно участвует в формировании современного мировоззрения.

Более того, архаичные мифологемы иногда актуализируются именно сопротивлением их воплощению со стороны социальной реальности. «Мы, люди с высокими требованиями нашей культуры и находящиеся под давлением наших внутренних вытеснений, находим действительность вообще неудовлетворительной и потому ведем жизнь в мире фантазий, в котором мы стараемся сгладить недостатки реального мира, воображая себе исполнение наших желаний» [225, с. 365]. В другом месте З. Фрейд говорит: «Мы ведем себя подобно параноику, желая своими мечтаниями исправить ту или иную невыносимую сторону мира, привнося свои иллюзии в реальность. На особую значимость претендует тот случай, когда множество людей совместными усилиями пытаются обеспечить себе счастье и защиту от страданий путем иллюзорного преобразования действительности» [224, с. 11]. Так, разочарованное в тоталитарных вариантах делания «сказки былью» массовое сознание обратилось к либеральным формам манифестации своих мечтаний.

Мечтания же, живущие в фольклоре, нравоучительных притчах и афоризмах, совершенно индифферентны к своей внутренней противоречивости и бездоказательности. В них припасены абсолютно противоположные сентенции на абсолютно всякий случай жизни. Неудивительно, что идея права на достойное человеческое существование продолжает развиваться в различных вариантах как всякий «фантазм сублимированной подлинности» [32, с. 28, 66], как облегчающий человеческое существование самообман. «Возможность интеграции в социальное целое так или иначе отсылает к отсутствующей универсальности не как к объяснительному и нормативному принципу, а как к отсутствующей полноте, до-полняющей конститутивный изъян идентичности. Ее вымышленное, невероятное существование составляет “темное место” любого рассуждения». И «если общество возможно

как таковое, то только потому, что общество лишено общего (содержания) и частной формы его репрезентации» [91, с. 27].

Так что идеи, архетипы, социальные фантомы значимы далеко не только в жизни исследователей. Они – условие социальности, предваряющее даже роль труда в становлении человечества тем, чем оно стало в сравнении с иными биологическими видами [227, 228].

Полнота версии «рая на небе» симулятивно обретается соблюдением религиозных требований и ритуалов, а «рая на земле» – симулированием «равных возможностей», «равных стартовых условий», которые нужно добыть, заработать, выторговать, прежде всего, у власти. В этом «раю» все «молоды, здоровы, непрерывно едят и широко улыбаются, по ночам там не гасят огни, радио и ТВ работают 24 часа в сутки. Люди совершенны как боги: благодаря спорту, аэробике, медицинским препаратам, лицевой хирургии они могут конструировать свою внешность, которая раньше была дана как судьба» [142, с. 5].

Симулятивно объединяющая идея, каковой стала идея права на достойное человеческое существование – «это не общее, а совместное бытие, бытие-вместе, со-бытие. Общее здесь обещается, но никогда не наблюдается как нечто присутствующее» [91, с. 68]. В этом отсутствии, но и (мифическом) обещании присутствия – сила государства [3] и сила религии [103]. Мечты и утопии «представляют собой загадочные реликтовые останки, которые экономико-теологическая машина оставила на берегу человечества, и природу которых, ностальгически обращаясь к ним вновь и вновь, люди тщетно пытаются распознать» [4, с. 17].

Более того, «на основе современных технологий была создана фабрика желаний. Человек утрачивает суверенное право желать. Теперь желание приходит к нему извне – свидетельство изначальной опустошенности человека» [202, 21]. Но эта опустошенность еще и конкретно-исторического социокультурного происхождения. Сегодня рождается более тонкая, нежели в прежние времена, технология социального контроля. По словам Ж. Бодрийера, человек массового общества сам отказывается от сопротивления власти в пользу соблазна. В политическом управлении это выражается в стремлении прави-

тельств устанавливать контроль над «производством смыслов» – образованием, средствами массовой информации, общественными и религиозными организациями. Идеи в этом деле – серьезный капитал. Любой человек, в том числе идущий впоследствии в науку, среди этих идей вырастает, живет, испытывает на себе не только их внешнее, но и вполне интериоризованное влияние, выступает их носителем и транслятором даже в своих теоретических построениях, не всегда отдавая себе в этом отчет.

Идеи не стираются и не тускнеют от (не)употребления, а исторические («эмпирические») формы их объективаций никогда не тождественны их содержанию [173]. Идеи, казалось бы, даже очень старые, известные способны вновь и вновь получать значительный социальный резонанс – становиться социально значимыми, овладевая и индивидуумами, и массами; превращаться в материальную силу [144, с. 422], например, «камуфлируя или освящая материальный интерес» [198].

И если «реальность всегда шире, богаче, полнее любых человеческих представлений об этой реальности» [239, с. 14], то и «любые идеи профанируются, когда реализуются» [148, с. 286], что может сделать их менее популярными, но не способно покончить с ними раз и навсегда. Они продолжают быть спутниками человечества, дожидаясь повода и времени для своего вдохновляющего воздействия на некоторых, иногда – на очень многих.

Всякого теоретика вдохновляет некая уходящая в седые донаучные времена идея, зовет и побуждает его к интеллектуальным построениям в определенном направлении. Сама же идея, как и все «предпосылочные структуры... “сопротивляется” переводу в эксплицитную форму, поскольку объективация и представление в форме суждений должны осуществляться внутри определенной системы отсчета, между тем сами предпосылки как раз и конституируют эти системы» [219, с. 32]. Безусловность идеи свидетельствует о безразличии к любой эмпирии, которая во всех модификациях не оказывает на нее никакого влияния. Но сама идея может оказывать и часто оказывает влияние на эмпирический уровень познания. Она позволяет «остранить» (В. Б. Шклов-

ский) факты, интерпретации которых уже стали привычными, еще до основательного теоретического и даже предварительного концептуального их переосмысления, когда данные зафиксированы, но в свете некоторого нового концепта невозможны [73, 209], что может привести к полной элиминации, непризнанию еще недавно признававшегося всеми факта.

Показательно, что теория деятельности обходилась без обращения к фактам выхода из кризисных ситуаций. Ее сторонники успешно исследовали опосредованную психическим отражением предметно-мотивированную активность, специфицирующуюся в орудийную деятельность в случае с человеком как биологическим видом. С точки зрения теории деятельности ясно, как ситуация обесмысливается: исчезает предмет, служивший мотивом. Но деятельность всегда предметна, в случае же с переживанием мы имеем дело с ситуацией беспредметности. Прежде чем иной предмет станет мотивом, необходима мотивация поиска или построения этого нового мотивирующего предмета. В этом и состоит критичность жизненной ситуации: отсутствие мотивации к обретению мотивации. В таких условиях логичным предстает прекращение не только деятельности, но и самой жизни. Тем не менее она очень часто продолжается несмотря на трудное и тяжелое эмоциональное состояние, с которым человек иногда успешно справляется, в том числе с помощью психологов.

Потому не имманентная логика теории деятельности, а сами факты, будучи «нагруженными» иными концептами, служат источником потребности обращения к ним. Ф. Е. Василюк не проходит мимо, более того, обращается к понятию «жизненного мира» («психологического мира»), за которым стоит совершенно особая идея «индивидуальной жизни, понимаемой как развертывающееся целое, как жизненный путь личности... Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего пути, своего жизненного замысла. Психологическим органом, проводящим замысел сквозь неизбежные трудности и сложности мира, является воля» [46, с. 47]. Это уже ближе к А. Шопенгауэру, чем к К. Марксу, к которому восходит теория деятельности.

Идея жизненного мира вспоминается Ф. Е. Василюком из коннотаций, как бы из конструкции самого термина «переживание», за которым «в предельно абстрактном понимании – ... борьба против невозможности жить» [46, с. 78]. Вспоминается также параллель украинского слова победа – «перемога». Так, движущей идеей дальнейших поисков Ф. Е. Василюка выступила сама жизнь, идея ее самоценности, жизнь ради жизни. Отнюдь не новая идея и ни для одного из сторонников теории деятельности не чуждая. Но для их научных и практических исканий остающаяся фоновой, факультативной, а потому банальной, заслуживающей снисходительного отношения разве что за свою наивность.

Для сторонников теории деятельности не банально, что (сама по себе самоценная) жизнь есть деятельность. «Деятельность есть молярная, неаддитивная единица жизни» [125, с. 81], мотивированная в конечном счете предметом внешнего мира. Известно, что основополагающему тезису С. Л. Рубинштейна – «внешнее действует через внутренние условия» А. Н. Леонтьев противопоставил тезис – «внутреннее действует через внешние условия». Как отмечает Н. И. Сарджвеладзе, «формула А. Н. Леонтьева скорее полемический выпад, нежели научный постулат. Антитезис “внутреннее через внешнее” ставит акцент на имманентное самодвижение человеческой предметной деятельности, которая для такого самодвижения нуждается во внешних условиях» [197, с. 12]. Деятельность оказывается несамодостаточной и несамощной, если она нуждается во внешних условиях: «Положить в основу психологической теории утверждение о том, что мотивом деятельности является предмет, значит исходить из убеждения, что жизнь в конечном счете определяется миром» [46, с. 86].

По мнению Ф. Е. Василюка, в пафосе критики пусть ошибочной, но широко распространенной у психологов онтологии изолированного индивида в теории деятельности (в том виде, в котором она существовала в 1980-е гг.) содержится другая крайняя онтология – деиндивидуализации и даже девитализации, из которой следуют ограниченное понимание психики только как результата интериоризации, вывод о тождестве внешней и внутренней деятельности и др. непри-

емлемые концептуальные конструкции. Ф. Е. Василюка вдохновляет иная, не совпадающая с движущей идеей теории деятельности, идея самоценной и самодостаточной жизни.

По-своему ярко и фундаментально идея представлена в «Творческой эволюции» [25] А. Бергсона (1859–1941), впервые опубликованной еще в 1907 г. А. Бергсон, кстати, пережил увлечение Платином – возможно, самым ярким из всех неоплатоников, позаимствовав у него идею эманации. Применив ее к современным ему естественнонаучным данным, он сконструировал грандиозную картину мира как несущего в своей основе бессмертный, вечный жизненный порыв (*durée*), лишь на периферии остывающий в материальную предметность, с которой только, а не со всем богатством мироздания, и удастся совладать человеческому разуму. Кстати, мировоззрение З. Фрейда как фигуры, более значимой для всех занимающихся психологией, формировалось в контексте той же идеи, тех же настроений и представлений.

Показательно, что классик теории деятельности А. Н. Леонтьев осуждающе называл позицию, опирающуюся на эту идею, «биопсихизмом» [127, с. 16] или «психовитализмом» [127, с. 18]. Он писал: «Мы не считаем, что этот взгляд может быть принят современным исследованием, желающим остаться на научной почве, и не считаем необходимым вдаваться здесь в его критику» [127, с. 19].

А для его ученика Ф. Е. Василюка с некоторых пор «жизненный мир и является, собственно говоря, единственным побудителем и источником обитающего в нем существа» [46, с. 86]. Жизненный Мир – это не мир внешних предметов, объектов. «Бытие – не только объекты» [191, с. 91; см. также: 18; 19], значит, жизнь не только деятельность. Неслучайно в более поздней статье, чем монография «Психология переживания», Ф. Е. Василюк определяет деятельность лишь как один из, по крайней мере, четырех аспектов «жизни человека в мире» наряду с установкой, отношением и общением [42]. Идея жизненного мира конституирует понимание жизни как автономной от физического мира целостности, не ограниченной ни объектами, ни субъективностью.

Заметим, что та же идея жизненного мира совершенно иначе работает (эксплицируется) у исследователей феноменологического, эк-

зистенциалистского направлений, для которых «в принципе жизненный мир всегда субъективен, точнее, он является “объективной субъективностью”» [11, с. 109], т. е. «жизненный мир в конечном счете есть результат конституирующей деятельности трансцендентального Эго» [11, с. 109], «результат интенциональных актов трансцендентального Я» [11, с. 109]. Так, энергия одной и той же идеи способствует формированию различных концептов.

В исследовании же Ф. Е. Василюка взгляд, привносимый этой идеей, позволяет существенно трансформировать деятельностный подход, подчинив его другой логике. Он мог бы обратиться к психологической теории В. Н. Мясищева, который, ориентируясь на марксово понимание сущности человека, т. е. избрав его эталоном осмысления личности, абстрагирует социальные качества людей, создавая вслед за Марксом идеализированную модель «всецело» общественной личности. В полемике с «робинзонадой» в теориях современников идеальная модель человека как сугубо социального существа мыслится принципиально включенной в некоторый социум. Социальность выступает здесь самодостаточной субстанцией, а не ее аддиктивной единицей – отношение, из которого выводится вся психологическая теория [121, 157].

Ф. Е. Василюк мог бы опираться и на теорию установки Д. Н. Узнадзе, избравшего в качестве предмета исследования субъект-объектные взаимодействия. Осмысляет он их с позиции диалектики потребности и заключенных в ситуации возможностей ее удовлетворения. Создается идеализированная модель, в которой на месте субъекта остается лишь его потребность, на месте объекта – ситуация. Идея опосредованности сторон этого бинарного отношения приводит к понятию установки, за которым обнаруживается субстанциализируемая автономия субъекта [216]. Но природа такого субъекта остается неясной, что открывает возможность толкования теории установки в духе «робинзонады». Правда, работа Н. И. Сарджвеладзе показывает, что за понятием установки, особенно установки фиксированной, лежит более глубокая и уже знакомая нам идея жизненного мира [197, с. 195].

Поскольку Ф. Е. Василюк принадлежит к научной школе А. Н. Леонтьева, то он выбирает деятельностный подход, хотя теория дея-

тельности и не справляется с фактами преодоления критических ситуаций, трансформируется в свете идеи жизненного мира. Неслучайно после углубленной рефлексии над основаниями своей теории он предложил считать, что «теории и категории установки, отношения и деятельности являются равноправными, неотъемлемыми и незаменимыми “органами” потенциальной целостной диалектико-материалистической общепсихологической теории» [42, с. 77], обнаружив необходимость в четвертой равноправной с ними категории общения.

Кстати, убедительную критику чрезмерной экстраполяции деятельностного подхода и связанной с ней теории интериоризации в начале 1980-х гг. дал весьма популярный среди философов и психологов-теоретиков Г. С. Батищев [17]. Об этом не мог не знать Ф. Е. Василюк – идеи «витают в воздухе»: «Исходным целым, подлежащим теоретическому осмыслению, является вся жизнь человека в целом; жизнь человека во всех основных временных и телеологических аспектах – прошедшая, текущая, намечаемая; жизнь как потенция и акциденция... как вполне определенное, характерное целое и как принципиально незавершенный творческий путь» [201, с. 58].

Идея жизненного мира, содержащего в себе психику как грань, проявилась еще в глубокой древности. Например, в древнеиндийском учении чарваков существует отождествление сознания с жизненной силой [248, с. 24]. Аристотель под «душой» понимал целесообразно работающую систему [248, с. 4], свойственную только живому. Идея витализма не была забыта и в эпоху расцвета механицизма [88]. Так или иначе свойством, гранью всякой жизни считали психику К. Бернар, В. Вундт, Э. Геккель, Т. Гоббс.

Особенно большое внимание идее жизненного мира уделяет К. Левин (1890–1947), тоже употребляющий для ее обозначения термины «психологический мир» и «жизненное пространство». Главным образом его волнует задача превращения психологии в строгую науку, построенную на принципах «галилеевского» мышления. С этим был связан вопрос о замкнутости психологического мира, т. е. наличии принципиальной возможности объяснения по его законам любой ситуации из числа предшествующих или, наоборот, предсказания на примере

данной ситуации исхода последующей. Психологический мир, согласно К. Левину, в отличие от физического, является открытым, т. е. на него воздействует трансгредивентная ему реальность, отчего ни полное объяснение, ни предсказание происходящих в нем событий на основании одних только законов психологии невозможно. К. Левин осознает, что в его позиции есть тенденция отождествления физического мира со всем универсумом. Он признает влияние на физический мир нефизических сфер, но осуществляется оно целиком на физической почве сообразно физическим законам исключительно физическими средствами.

Ф. Е. Василюк справедливо дополняет К. Левина: «Точно так же одновременно открытым и закрытым (замкнутым) является жизненный, психологический мир... Психологический мир не знает ничего непсихологического... Однако в психологическом мире время от времени обнаруживаются особые феномены (в первую очередь, трудность и боль), которые хоть и являются полностью психологическими и принадлежат исключительно жизненной реальности, но в то же время как бы кивают в сторону чего-то непсихологического... Через эти феномены в психологический мир заглядывает нечто трансцендентное ему, нечто “оттуда”, но заглядывает оно уже в маске чего-то психологического» [46, с. 91].

Та же («витающая в воздухе») идея особой целостности жизненного мира встречается и у венгерского психолога А. Ангьяла, работавшего в США. Для ее обозначения он использует термин «биосфера». «Биосфера – это область или сфера жизни. Биосфера включает и индивида, и среду, обоих вместе. Но в понятии биосферы индивид и среда рассматриваются не как взаимодействующие части, самостоятельно существующие единицы, а как отдельные аспекты единой реальности, которую можно делить лишь только путем абстракции; сама же по себе биосфера представляет собой неразъединяемую целостность» [252, р. 329].

Если субстанция психики – витальность, значит, при отсутствии внешнего предмета жизнь может сама себя мотивировать, что и проявляется в феномене переживания. Таким образом, идея трансформирует концептуальный подход, превращая заложенный в нем принцип

в частности, подводя основу для совершенно нового осмысления фактов, а именно: психический мир остается возможным трактовать как «деятельное» явление, но деятельность при этом не понимается как мотивированная исключительно внешним предметом. Жизнь – сам себя мотивирующий «предмет», и только (только!!!) поэтому и внешний предмет способен оказывать на него мотивирующее воздействие. Так вдохновляющая идея перестраивает оптику восприятия исследователя, определяет значение важнейшего концепта, побуждает к его конкретизации, дополнению необходимыми концептуальными конструкциями, моделями, приближая исследователя к построению новой научной теории.

Разработанная Ф. Е. Василюком научная теория тем не менее не служит окончательным доказательством в пользу витализма. Последний – как идея – выполняет лишь предпосылочно-регулятивную роль. Он позволяет уйти от той тенденции замкнутости, которая свойственна теоретическому мышлению вообще [233, с. 94–108] и деятельностному подходу в частности. Тем более, что найденная благодаря идее субстанция самодостаточной жизни становится основой для последующей ее идеализации, которая есть «не частный логический прием», но всеобщая сущность («атрибут») умственной деятельности [9, с. 28], позволяющая представить предмет в такой форме существования, которая непосредственно тождественна с формой сущности [9, с. 31]: мысленно он воспроизводится как сущность, равная своему существованию, как сущность в чистом виде. Например, сущность жизни есть сама жизнь, ибо идеализация состоит «в том, что предметы, имеющие в действительности некоторое свойство, мыслятся как лишенные его» [55, с. 117], собственно все многообразие жизненных проявлений отбрасывается, остается жизнь ради жизни.

Идеализированный мыслимый наглядный объект очень удобен для рассмотрения: «Объект материальной действительности – неподходящий объект для теоретика, ибо в нем процесс не выступает в чистом виде. Предварительным условием исследования является изготовление идеализированного, абстрактного объекта» [71, с. 38; 234, с. 71]. Поэтому такой объект играет очень важную роль в науке. «Что-

бы совершить переход от эмпирического базиса к совокупности новых понятий, нужен некоторый посредствующий мост. Им служит особый элемент структуры теории, который можно назвать идеализированным объектом, т. е. абстрактной моделью, наделенной небольшим числом весьма общих свойств и простейшей структурой. Этот объект в специфической форме воплощает в себе глубинные особенности сущности, специфику исследуемой области явлений, а его способ функционирования – самый общий его закон» [116, с. 88].

Действительно, идеализированный объект связывает факты с концептуальной основой становящейся научной теории, новые понятия которой, однако, вытекают не прямо из идеализированного объекта, а в результате особой работы с ним – наделения его некоторым новым атрибутивным свойством. Ясно, какой многократной «перегонке» подвергается идея, чтобы можно было потом считать теорию, из нее исходящую, однозначным аргументом в ее пользу. «Наука каждый раз перестраивает указанные объекты. В новой системе отношений они всегда наделяются новыми признаками» [206, с. 19]. Определение природы того, какая идея «сработает» в конкретном случае, есть определение природы научного творчества. По этому вопросу ряд авторов полагают, что так или иначе порождение нового звания есть неосознанный логический процесс [55, 69, 78]. Наблюдаются и попытки выявить особую «логику творчества» [29].

Дело в том, что идеи во многом нерациональны, формируются на надличностном уровне. Это подтверждается уже тем, что «носящаяся в воздухе» идея обычно «является» более чем одному субъекту, даже если субъекты лишены коммуникации [233, с. 78]. Идея посредством субъекта «врывается» в науку из широкого культурного контекста, а субъект только «пользуется» ею. Поэтому «теоретический объект... существует лишь... как продукт конструктивной деятельности исследователя» [71, с. 37]. Энергия этой деятельности черпается из всей человеческой культуры в форме вдохновляющей исследователя идеи.

В результате наделения идеализированного объекта новым атрибутивным свойством является так называемый абстрактный эле-

ментарный объект, способный играть системообразующую роль в некотором радиусе концептуального поля, т. е. стать элементарной клеточкой новой научной теории [72]. Для научной теории психологического переживания Ф. Е. Василюк строит абстрактный элементарный объект следующим образом:

1) *абстрагирует* из человеческой жизни, из жизни вообще самую жизненность, витальность в отрыве от всей сложности, с которой она связана;

2) *идеализирует* эту абстракцию в существо, которое, «строго говоря, субъектом... не может быть названо, ибо оно не отправляет никакой деятельности и не отличает тем самым себя от объекта. Его существование – это окутанная бесконечным благом чистая культура жизнедеятельности, первичная жизненность, витальность» [46, с. 95]; «жизненный мир и мир внешний оказываются влитыми друг в друга, так что наблюдатель, смотревший бы со стороны субъекта, не заметил бы мира и счел бы это существо субстанциональным, т. е. не требующим для своего существования другого существа, а наблюдатель со стороны мира не выделил бы из него само это существо, он видел бы... просто “живое вещество”» [46, с. 95];

3) *приписывает* указанному существу (вот он, собственно, конструктивный момент! – *авт.*) мироощущение, хотя оно в нем совершенно не нуждается да и невозможно. «Конечно, несколько странно слышать о мироощущении живущего здесь существа, поскольку мы, строго говоря, не можем приписать ему даже психики. Она ему не нужна» [46, с. 97].

Таким образом, в основу психологической теории положена модель существа, не нуждающегося в психике (!). Кстати, и А. Н. Леонтьев выводит психику из раздражимости (т. е. из не-психики) [127]. Точнее, даже не из раздражимости – свойства, присущего живому, а из ее столкновения с предметно оформленным внешним миром, в котором между потребностью и ее предметом встают трудности [127, с. 49–50; 60, с. 103–104], в результате чего «имеет место отождествление одного отношения (деятельности) со своей жизнью в целом» [46, с. 107].

Действующая во многом под- или надсознательно идея побуждает Ф. Е. Василюка сказать: «И тем не менее психологическое описание этой (сконструированной им самим – *авт.*) жизни не может быть полным, если не будет раскрыто имманентное ей мироощущение. Это не значит, что мы будем описывать фикцию, мироощущение этой жизни обладает такой же реальностью, как и она сама, только оно растворено в жизни, не выделено из нее» [46, с. 97]. Но это есть и признание того, что психика рождается не в деятельности, что психика может лишь проявиться в ней.

Как доказывает несложный анализ, сливающееся с самой жизнью мироощущение такого существа будет удовольствием. А «если допустить любую, самую незначительную с внешней точки зрения депривацию потребности этого существа, то в плане мироощущения ей будет соответствовать неудовольствие, покрывающее собой все, не имеющее конца, некий вселенский ужас, по существу смерть, ибо как удовольствие здесь – принцип и признак жизни, так неудовольствие... – принцип и признак смерти» [46, с. 98]. Ясно, что такое существо не сможет пережить кризис хотя бы потому, что не успеет. Да и «в самом этом мире, взятом во всей чистоте его характеристик, переживанию вообще нет места» [46, с. 100]. Опять в основе научной теории переживания модель существа, переживание которым невозможно – это обязательное условие исследования всякого генезиса.

Далее переживание обнаруживает две стороны – внутреннюю и внешнюю, в соответствии с чем исходный концепт конкретизируется в дихотомию внутреннего и внешнего жизненных миров. Как предельный случай их соотношения теоретиком конструируется модель существа, «которое обладает одной-единственной потребностью, одним-единственным отношением к миру. Внутренний мир такого существа будет прост, вся его жизнь будет состоять из одной деятельности» [46, с. 87]. Налицо искусственный репрезентант психологического субъекта, весьма упрощенный, но «мы не сможем понять конечное и эмпирически наблюдаемое, не умея мыслить предельное» [46, с. 88]. Созданная модель с необходимостью получает относительную самостоятельность, и по ее внутренней логике «процесс удовлетворения

потребности совпадает у такого существа с жизнью, а стало быть, он психологически незавершенным... (остановка... была бы равнозначна смерти)» [46, с. 87], так как «потребность в силу своей единственности будет принципиально ненасыщаемой» [46, с. 87].

Конструирование теоретической модели продолжается предположением, «что внешний мир нашего гипотетического существа легок, т. е. состоит из одного-единственного предмета» [46, с. 87–88]. Исходный концепт оказался конкретизированным в первую теоретическую модель внутренне простого и внешне легкого жизненного мира, которая и является абстрактным элементарным объектом научно-психологической теории переживания критических жизненных ситуаций Ф. Е. Василюка.

Научная теория, конечно, не может ограничиться своим абстрактным элементарным объектом и вытекающими из него следствиями. Требуется дальнейшая конкретизация или, иными словами, развитие. Развитие же в однородном мире есть только усложнение одного и того же. Но мир неоднороден, он имманентен любой системе, «врывается» в ее развитие извне. Поэтому развитие происходит скачкообразно.

Можно считать, что витальная удовлетворенность определяет в конечном счете всю жизнь, как это с некоторыми оговорками получается у З. Фрейда: «Мы знаем, что принцип удовлетворения присущ первичному способу работы психического аппарата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже в высокой степени опасным. Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется “принципом реальности”, который, не оставляя конечной цели – достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию» [226, с. 39]. Как писали Л. С. Выготский и А. Р. Лурия в предисловии к выше цитированному сочинению З. Фрейда, «все это чрезвычайно элементарно, и, по-видимому, принадлежит к числу самоочевидных истин» [226, с. 6]. З. Фрейд и не претендовал на оригинальность в этом пункте своей теории: «Такой глубокий исследователь, как Г. Фехнер выдвинул теорию удовольст-

вия и неудовольствия, в существенном совпадающую с той, к которой приводит вас психоаналитическая работа» [226, с. 37].

Однако хорошо известно, сколь велика эмпирическая область, весьма искусственно интерпретируемая с позиций психоанализа или в соответствии с абстрактным элементарным объектом, построенным Ф. Е. Василюком. Факты требуют, по крайней мере, дополнения к той модели, которая выступает в качестве абстрактного элементарного объекта. Подлинным основанием последнего на концептуальном этапе генезиса (и уровне) научной теории остается лишь идея, допускающая не только эту, но и другие модели, необязательно отменяющие первую, строящиеся в направлении «сопротивляющихся» фактов. Большая часть фактического материала, требующего своего переосмысления, выходит далеко за пределы той информации, что содержится в абстрактном элементарном объекте и следствиях из него. Выход возможен в специальном конструировании теоретических моделей, соответствующих большему или меньшему числу фактов, тем более что «только теоретическая модель может противоречить данным» [36, с. 75].

Ряд авторов считают, что «модель не является образом оригинала и что образ не может быть моделью того самого объекта, образом которого он является» [155, с. 30–31] на том основании, что «мы прибегаем к помощи модели в тех случаях, когда не имеем образа» [110, с. 79–81; 155, с. 29]. Хотя ими же утверждается обратное: «Образ не только результат, но и необходимая предпосылка моделирования» [155, с. 29]. И это понятно, ибо как можно прибегать к моделированию того, о чем нет никакого представления (образа). «Минимальным и достаточным условием для того, чтобы нечто стало моделью, является постулирование этим нечто некоторым системным образом не только тех или иных сущностей, но и возможных отношений между ними. В этом случае и в этом смысле каждая теория, как и каждая метафизика, есть модель» [40, с. 63]. Как верно замечает Я. Г. Неуймин, мнение о первоначальном формировании понятия, а потом модели «означает лишь одно: модель объекта формируется субъектом неосознанно» [159, с. 50]. Это объясняется тем, что концепт характери-

зуется психологическим и логическим синкретизмом. Модельный аспект проявляется уже в абстрактном элементарном объекте. В качестве структурных единиц в состав абстрактного элементарного объекта теорий входят три компонента [201, с. 2]:

- концептуальная (понятийная);
- модельная (чувственно-образная);
- знаковая (символическая).

Исследованию феномена модели посвящено немало работ. Чаще всего модель определяется как «аналог (схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры... и т. п. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения, модель – это “представитель”, “заместитель” оригинала в познании и практике» [79, с. 54]. Но обязательно «во всех случаях имеется нечто общее, присущее всем моделям – это наличие какой-то структуры (статической или динамической), которая действительно подобна или рассматривается в качестве подобной структуре другой системы» [242, с. 8].

В силу определенного содержательного или формального подобия оригиналу модель замещает реальный объект для некоторых целей исследования, т. е. репрезентирует его в той или иной степени. «Общепризнано, что всякая модель беднее своего оригинала, она представляет оригинал только в определенном отношении, и именно в этом заключается ее теоретико-познавательная ценность» [72, с. 86]. Отношение подобия возникает и между научной теорией и ее объектом, в силу чего целесообразно выделить относительно самостоятельный модельный уровень научной теории, построение которого продолжает подпитываться энергией вдохновляющей исследователя идеи.

«Как известно, ни одна теория не может строиться непосредственно на эмпирических данных и, в свою очередь, не может непосредственным образом применяться к эмпирической действительности. Различного рода абстрактно-теоретические, а также чувственно-наглядные модели и являются тем недостающим звеном, которое обес-

печивает связь теории с действительностью, способствуя выяснению объективной ценности и значимости теории» [72, с. 85]. Научная теория призвана выражать не исключительно сущность объекта, которая может фиксироваться уже в концепте, а порой даже на сугубо чувственном уровне. Теория предъявляет сущность не только на концептуальном уровне, но и в развернутом виде. Это происходит на модельном уровне научной теории, в отличие от интегративного концептуального уровня, дифференцирующего объект в его многообразии. Так, концептуальный уровень физической теории И. Ньютона ничего не скажет об устройстве Солнечной или ей подобных систем и даже об их существовании. Он отражает в себе лишь абстрактную возможность определенного рода вещей. Реализация этих возможностей представляет собой переход концептуального уровня научной теории в модельный. Например, первые две книги классического труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» содержат такую реализацию, которая доводится в третьей книге до теоретической модели Солнечной системы, объясняемой в единстве теоретического и эмпирического уровней познания.

Наиболее распространенным способом первичной конкретизации основополагающего концепта научной теории является выдвижение интуитивно очевидных в свете исходного концепта аксиом и допущений [39, 65, 66, 194]. В любом случае конкретизация концепта осуществляется как его дифференциация, и тем самым происходит формирование модельного уровня теории. Последний, в свою очередь, способен «овнешняться» в многообразные научно-теоретические модели объекта. Всякая теоретическая модель есть один из возможных пределов, наложенных в модельном уровне научной теории. Овнешнение теоретической модели требует того или иного ее воплощения, материализации, что выливается в формирование предметной модели объекта. Последнюю можно назвать внешней моделью в отличие от внутренней – теоретической.

В. И. Кураев и Ф. В. Лазарев отмечают три важных свойства внутренних моделей [118, с. 56].

1. *Альтернативность* (...означает не только то, что данная модель а priori не исключает возможность других моделей, но и то, что актуально мы имеем дело всегда лишь только с какой-то одной моделью).

2. *Сфокусированность* (любая модель несет в себе некий четкий смысл, определяющий предел дальнейшего совершенствования образа).

3. *Элиминируемость* (в акте постижения реальности модель сама по себе никогда не воспринимается: образ сливается и отождествляется с самой вещью).

Несмотря на тесную взаимосвязь и взаимодетерминацию важно различать три указанных модельных отношения к объекту:

- модельный уровень научной теории;
- научно-теоретическая модель;
- предметная модель.

Если на модельном уровне теории можно обнаружить абстрактные возможности всех проявлений сущности, то в теоретической модели такая возможность уже определена субъектом – исторически ограниченным, преследующим свои цели, небеспристрастным и т. д. Естественно, что на модельный уровень теории субъектом накладывается определенность в направлении той действительности, в которой он живет. Ведь от «знания о возможном нельзя априорно перейти к тому, что существует в действительности, необходимо эмпирическое исследование реальных явлений, которое осуществляется в форме построения определенной абстрактной модели действительности... Теоретическая модель ограничивает таким образом пространство абстрактных возможностей областью того, что реально существует... В теоретической модели закон выступает как основание явления, как “существенное явление”, как основа для объяснения и предсказания фактов» [235, с. 143]. Поэтому модельный уровень научной теории конкретизируется в направлении к эмпирическому уровню, а теоретическая модель выступает как своеобразная «логическая реконструкция эмпирических данных» [188, с. 33].

Абстрактный элементарный объект содержит в себе потенциал, позволяющий ему разворачиваться некоторое время в сугубо концептуальном плане. Но возможности эти ограничены. Рассуждая об абст-

рактном элементарном объекте и его концептуальной конкретизации, Ф. Е. Василюк говорит, что они могут быть соотнесены с определенной эмпирией (психология утробного состояния, инфантилизма, лени, замещения). Но все же эти концептуальные конкретизации достаточно абстрактны. «Это, разумеется, означает не то, что не было проделано обещанного “восхождения от абстрактного к конкретному”, а лишь то, что это “восхождение” не закончено. Мы подошли к такой точке на одной из линий “восхождения”, где “энергия” положенных в основу движения абстракций исчерпала себя, так что дальнейшее движение в этом направлении требует “инъекции” опытного, эмпирического знания, но, заметим, не всякого, а достигнутого под руководством уже полученных абстракций» [46, с. 104].

Логически этот процесс предстает как концептуальный синтез, который, «формируя интегративно-общие понятия, одновременно порождает посредством экстраполяции новые частнонаучные модификации» [70, с. 297] основополагающего концепта, поскольку «наиболее простой формой развития понятия является расширение его фактического содержания в составе некоторой теории» [56, с. 163].

Модельный уровень научной теории, строящейся посредством эмпирической «инъекции», дополняется Ф. Е. Василюком еще тремя моделями на основе простой комбинаторики жизненных миров [46, с. 88–89]:

- внутренне простого и внешне трудного;
- внутренне сложного и внешне легкого;
- внутренне сложного и внешне трудного.

Полученные четыре теоретические модели позволили автору продолжить конкретизацию концепции и найти эмпирический базис, адекватный создаваемой научной теории.

Хотя витальная удовлетворенность не чистая теоретическая фикция, все же каждому больше знакомо состояние неудовлетворенности, возникающее чаще всего в силу внешних обстоятельств. Этот простой и весьма распространенный факт инициирует вторую модель, что, в свою очередь, показывает ограниченность первой модели. Примером чрезмерной экстраполяции первой модели на эмпирический материал может служить психоаналитическая теория З. Фрейда, где принцип ре-

альности (внешние обстоятельства) «оказывается на службе у принципа удовольствия и не имеющим самостоятельности. В каком-то смысле это верно, особенно когда под реальностью понимается внешняя, материальная реальность.

Однако, нам кажется, акцент должен быть несколько смещен. Поскольку следование реальности настолько важно, что без него жизнь в трудном мире была бы попросту невозможна, то нужно предположить, что из ситуативных необходимостей подчиняться реальности рано или поздно рождается надситуативная, глобальная установка следовать ей. Конечно, генетически она развивается под влиянием принципа удовольствия и из него, точнее, из соответствующих ему жизненных процессов черпает свою энергию, но в конце концов эта пуповина рвется, и в жизненном мире появляется новый, не сводимый ни к чему закон – принцип реальности» [46, с. 109], тогда как «внутренняя ипостась реалистической установки – это механизм терпения» [46, с. 109], эмоциональную окраску которого составляют беспечность, надежда, страх, отчаяние [46, с. 110–111].

Именно благодаря терпению, ситуация, бывшая критической для существа первого мира, не является таковой для субъекта трудной жизни [46, с. 114]. «Это переживание исходит из того, что реальность “не слышит убеждений”, что она непреодолима, борьба с ней бесполезна и, значит, нужно принять ее таковой, какова она есть, покориться, смириться и внутри заданных ею границ и пределов попытаться добиться возможности удовлетворения потребностей» [46, с. 116].

Отсутствием такого механизма объясняются факты фанатизма, аффективных расстройств (эйфорическая мания, гневная мания и др.), расстройство влечений (клептомания, пиромания, дромомания и т. д.), свойственные не только личностям определенного склада, но и определенным состояниям личности, более или менее длительным, нормальным или паталогическим.

Первые две модели, особенно вторая, соответствуют довольно обширной эмпирии, но опять же не всей, а интуитивно относимой к сфере компетенции теории переживания и требующей осмысления с ее позиций. Известны факты, необъяснимые ни с точки зрения следова-

ния принципу реальности, ни с точки зрения принципа удовольствия, которые, тем не менее, принято считать не паталогическими, а, наоборот, свидетельством духовной высоты. Например, факты нравственного поведения, которое в основе своей все-таки ригористично, факты альтруизма. Последние требуют особого объяснения.

Следуя логике Ф. Е. Василюка относительно принципа реальности и имея в виду неоднородность реальности, правомерно будет предположить, что некоторая ее сфера способна приобрести статус особенно значимой внутренне для данного жизненного мира. Если поначалу последний подчиняется такой сфере ситуативно, то рано или поздно рождается надситуативная установка следовать ей вне зависимости от ее актуального наличия. Пуповина с наличной реальностью рвется, и в жизненном мире появляется новый, не сводимый ни к чему закон – принцип *ценности*, который есть «высший принцип сложного и легкого жизненного мира» [46, с. 122]. Его суть в том, что «ценностное переживание смотрит реальности в глаза, видит ее ясно и отчетливо, не допуская ни малейшего самообмана, недооценки сил и неподатливости реальности, но оно в то же время смотрит сквозь реальность, как бы вопрошая: “Да так ли уж реальна реальность?” Неужели вот эта видимая, слышимая, чувствуемая данность и есть подлинное бытие, и есть истина?» [46, с. 134].

Ценность «может выполнять функции мотива, т. е. смыслообразовывать, направлять и побуждать воображение или реальное поведение, но отсюда, разумеется, не следует, что в рамках психологии ценность следует свести к мотиву. В отличие от мотива, который всегда, будучи моим, твоим или его мотивом, обособляет индивидуальный жизненный мир, ценность есть то, что, напротив, приобщает индивида к некоторой надиндивидуальной общности и целостности» [46, с. 124].

Критической для такого мира будет ситуация внутреннего конфликта – не просто как противоречия побуждений, а как противоречия, неразрешимого в данном виде. «В ситуации конфликта невозможно ни отказаться от реализации противоречащих жизненных отношений, ни выбрать одно из них... Это конфликт между сознанием, для которого еще актуальна соответствующая смысловая установка, и бытием, в котором ее реализация уже невозможна. Критическая си-

туация..., «делая невозможным выбор, “повреждает” психологическое будущее или даже уничтожает его. А будущее – это... “дом” смысла... Возникает разлад всей системы жизни, т. е. системы “сознание – бытие”: сознание не может принять бытие в таком виде и теряет способность осмыслять и направлять его; бытие, будучи не способно реализовать устремленности сознания и не находя в сознании адекватных ему форм, выходит из-под контроля сознания... Все это феноменологически выражается в утрате смысла. Преодоление этого разлада жизни, т. е. переживание в легком и сложном мире, осуществляется за счет ценностно-мотивационных перестроек» [46, с. 128–130], что объясняет фактическую возможность переживания потери близких людей; болезней, лишаящих возможности жить по-старому, страха перед смертью и др.

Если в первом мире деятельность просто не нужна, во втором всецело определяется внешними обстоятельствами (именно к этому тяготеет концепция А. Н. Леонтьева), в третьем – полностью продиктована внутренними, то, казалось бы, существуют заурядные факты, не объяснимые с точки зрения трех первых моделей. Например, это прекрасно известный из повседневного опыта феномен: «столкнувшись с труднопреодолимым затруднением в работе, я вдруг ощущаю желание напиться воды, позвонить приятелю, просмотреть газету и т. п. – в ход идет любое легко осуществимое и привлекательное намерение» [46, с. 139]. Есть и очень сложные факты творческих метаний, факты так называемой психалгии [46, с. 145].

Третья модель задает надситуативные задачи. Но человек живет прежде всего практической жизнью и вынужден согласовывать свои ценности с реальностью, с ситуацией. Их рассогласование (кризис) требует перестройки либо внутреннего, либо внешнего мира, либо того и другого вместе. «Новое не замещает здесь старое, а продолжает его дело: старое содержание сохраняется здесь силой творческого переживания, причем сохраняется не в форме мертвого, бездейственного прошлого, а в форме живой и продолжающейся в новой истории жизни личности» [46, с. 148]. В данном случае выход из критической си-

туации осуществляется посредством сотворения нового жизненного мира, т. е. через самотворчество жизненным миром внутренней и внешней своих сторон.

Теоретический анализ модели четвертого типа обнаруживает присутствие в ней признаков трех предыдущих моделей. Между теоретическими моделями складываются субординационные отношения. Четвертая оказывается наиболее конкретной, содержательной, а потому особенно близкой реальности. Эмпирически фиксируемым прототипом этой модели оказывается пронизывающее всю человеческую жизнь творчество [46, с. 138].

Итак, теоретической модели соответствует некоторый эмпирически фиксируемый аналог. Теоретическая модель задает его истолкование на своем языке, определяет методiku эмпирических исследований, интерпретирует и объясняет факты, прогнозирует и систематизирует их, акцентируя внимание на значимых с ее позиций эмпирических данных. Если первая теоретическая модель никак не может обратиться к фактам героизма, самопожертвования, поскольку в ней нет средств, которые могли бы их зафиксировать, тем более объяснить или предвидеть, то четвертая теоретическая модель позволяет успешно это сделать [46, с. 150].

Следует обратить внимание, что иерархия теоретических моделей не означает, будто менее совершенные, недостаточно конкретные модели становятся бесполезными из прагматических соображений удобства, а главное – из-за степени адекватности той или иной стороне реальности. Они выполняют далеко не только роль строительных лесов, поскольку сама жизнь подчас демонстрирует явления, трудно вписываемые, допустим, в четвертую теоретическую модель, но вполне объяснимые с позиций другой модели. Даже исходная, наиболее абстрактная, бедная содержанием первая модель может быть гораздо продуктивнее в случае, например, психологии новорожденного и практически ценнее для психокоррекции человека, пораженного сильной физической болью [46, с. 152–153].

Вообще, «творческое переживание... заключается в создании соответствующего этой и только этой критической ситуации, уникаль-

ного синтеза переживаний различных типов» [46, с. 153]. Разобраться в этом теоретически можно, лишь используя все модели, отношения между которыми не только суб-, но и координационные, а их множество на модельном уровне научной теории выступает полисистемой, отражающей полисистемность бытия. Любой «материальный предмет является как бы многочленом всех тех систем, в которые он входит, приобретая от каждой из них соответствующие качества-свойства» [117, с. 61], «в каждой из которых он ведет себя в соответствии с законами данной системы» [117, с. 164]. Можно сказать, что с любой из теоретических моделей соотносится некоторая системно организованная грань бытия.

Любой эмпирически фиксируемый случай уникален, однако возможны определенная типология или классификация фактов. Каждой из моделей, как правило, соответствует не отдельный эмпирический случай, а целый тип или класс фактов. Поэтому генезис научной теории на модельном этапе предстает как формирование полисистемы моделей, обнаруживающих соответствие целым классам фактов. Научная теория на модельном уровне «приспосабливается» к фактам, т. е. строится не путем их индуктивного обобщения, а в результате конструктивного согласования концепта и фактического материала [206, с. 130, 283, 301–302]. Иллюзия обобщения возникает вследствие первоначального «приспособления» концепта не к отдельным фактам, а к их классам, т. е. к некоторым обобщениям, предшествующим теории и существующим в свете уже имеющихся, пусть даже неудовлетворительных, теорий или концепций. «Возможность объяснения множества явлений с помощью базисного знания покоится на абстракции отождествления. Это такой способ ассимиляции фактов, при котором элементы множества принимаются не как полностью самостоятельные сущности, а как конкретные представители абстрактного элемента» [2, с. 42]. Таким элементом и является теоретическая модель.

Правда, Н. Т. Абрамова считает, что «эти абстрактные элементы конструируются исследователем путем обобщения свойств конкретных, наблюдаемых элементов» [2, с. 42]. На деле же фактический материал предстает поначалу облаченным в терминологию старых тео-

рий или концепций. Генезис новой теории он инспирирует не только сам по себе, но и в силу неудовлетворительности старых теорий или концепций. Если даже обнаружен совершенно новый факт (факты), удачно вписывающийся только и только в новую теорию, последняя, опираясь на него, не может просто игнорировать факты, давно известные. Рано или поздно она должна будет обратиться к ним и либо по-новому объяснить, либо элиминировать их. Понятно, что больший вес новой теории придает обращение не к отдельным фактам, а к их классу (классам), из чего следует, что конструирование теоретической модели начинается с «приспособления» именно к классам фактов.

Но неудовлетворительная теория не дает удовлетворительной классификации. Поэтому конкретизация научной теории должна дойти до уникальных фактов, до каждого – в пределе – факта самого по себе вне всякой классификации, после чего возможна новая, удовлетворительная классификация. Это условие невыполнимо, но конкретизация научной теории должна дойти до его выполнимости для каждого конкретного случая.

В арсенале научной теории, ее модельного уровня необходимы средства для построения *ad hoc* теоретических моделей, в которых приспособление теорий к фактам достигает своей диалектической противоположности – приспособления факта к теории. Потому что теоретическая модель (кроме *ad hoc* моделей) поначалу все-таки согласовывается не с фактом, а с его классом, классами (что и порождает иллюзию индуктивного обобщения), причем выделенными неудовлетворительным образом.

«Операции построения частных теоретических схем на основе объектов фундаментальной теоретической схемы не описываются в явном виде в постулатах и определениях теории. Эти операции демонстрируются на конкретных примерах редукции фундаментальной теоретической схемы к частной. Такие примеры включаются в соответствующие теории в качестве своего рода эталонных ситуаций, показывающих, как осуществляется вывод следствий из основных уровней теории» [206, с. 49–50]. Отметим, что В. С. Степин не единожды подчеркивает совпадение значений терминов «теоретическая схема» и «тео-

ретическая модель». «Теоретические модели, включенные в состав теории, я предложил называть “теоретическими схемами” – в отличие от сугубо “аналоговых моделей”, которые служат средством построения теории, ее строительными лесами, но целиком в теорию не входят» [205, с. 30; 206, с. 12].

Приближение концептуального уровня знания к эмпирическому идет путем построения все большего числа теоретических моделей. Так, сравнивая свое теоретическое построение, касающееся близкого проблематике жизненного пути вопроса о соотношении личности и социальной среды, с теорией переживания Ф. Е. Василюка, Н. И. Сарджвеладзе пишет: «В работе Ф. Е. Василюка обычно выделяются по четыре определенные категориально-типологические единицы, и далее следует их тонкое психологическое описание. Наш же “расчет вариантов” идет дальше: выделяя для начала четыре исходных абстрактно-возможных варианта, мы подготавливаем почву для второго этапа определения возможных, вернее, конкретно-возможных состояний системы “личность – социальная среда”. На этом втором этапе высчитываются определенные комбинаторные возможности на основе сложения уже установленных четырех исходных вариантов» [197, с. 65].

Число вариантов теоретических моделей, однако, не может быть актуально бесконечным, а потому на уровне теории оно ограничивается эталонными примерами, что и позволяет говорить: «На любом этапе такого приближения (концептуального к эмпирическому – *авт.*) между реальным объектом и теоретическим конструктом лежит бесконечность» [118, с. 96]. В этой бесконечности и располагается поле генетической взаимодействия эмпирического и концептуального – в бесконечности, находящей свои конечные пределы в каждом конкретном факте. Кроме того, «между теоретическим и эмпирическим... всегда имеется определенный “зазор”, угол расхождения наблюдаемого и ненаблюдаемого, заполнение которого в каждую эпоху является результатом конкретно-исторического развития. Чтобы выйти за рамки эмпирически достоверного, увидеть больше, чем об этом свидетельствуют чувства, или, наоборот, раскрыть предметно наблюдаемые

референты теоретических абстракций, необходим иногда опыт целой цивилизации» [115, с. 63].

Упомянем еще об одном редко отмечаемом аспекте исследуемой взаимодейстования. На модельном уровне научной теории вырабатывается множество актуально «лишних», незадействованных теоретических моделей, оцениваемых как неперспективные и т. п. Так, например, легкость сложного мира позволяет смоделировать жизнь, где в силу легкости внешнего мира результат сразу же равен замыслу, что лишает ее внутренней необходимости в осознании и очередности исполнения замыслов, реализующихся сразу же, а значит, без всякой очередности. Подобные «абстракции... настолько сильны, что перестают быть плодотворными» [46, с. 119–120].

Отметим, что такому «отрицательному» опыту науки уделяется неоправданно мало внимания со стороны историков и философов. С одной стороны, это делает возможными различного рода спекуляции в области методологии. С другой, изучение феномена неприятия наукой некоторых, причем весьма многих выдвигаемых теоретических моделей могло бы пролить дополнительный свет на весь процесс развития научного познания и знания. В некоторой степени пониженный интерес объясняется тем, что о неудачных попытках новаций мало свидетельств, так как удачи привлекают больше внимания в силу мощного влияния, ценности, редкости. Но несомненно, концептуальные и модельные неудачи играют немалую роль в науке, поскольку стимулируют активизацию потенциала теорий и служат их предметной определенности.

Теоретической моделью избираются именно те факты, которые соответствуют ей. В свою очередь, она способствует обращению особого внимания на явно противоречащие ей факты. Вписываясь в теоретическую модель, факты получают объяснение, увязываясь со множеством других фактов и с определенной совокупностью законов. Исходя из этих взаимосвязей можно прогнозировать дальнейший ход эмпирических событий. Например, предвидение Д. И. Менделеевым существования неизвестных до того химических элементов есть теоретическое конструирование моделей актуально ненаблюдаемых объ-

ектов. Такие же возможности имеет предложенная Н. И. Сарджвеладзе система моделей виртуальных образцов поведения.

Сама избирательность по отношению к эмпирии строится на прогнозе: «Селективность, как это доказывается специальными исследованиями... есть как бы обратная сторона невозможности осуществлять “сплошное” наблюдение, т. е. фиксировать, а затем воспроизвести все, что было в поле зрения» [189, с. 98]. Теоретическая модель ориентирует эмпирическое познание на его прогнозируемое, ожидаемое. В центре этого процесса стоит объяснение, и на его основе происходит прогнозирование, определяющее селекцию, которая поставляет материал для объяснения и т. д. Насколько активна теоретическая модель по отношению к опыту, демонстрирует хотя бы полное пренебрежение гелиоцентрической модели повседневным опытом человечества, имеющим теоретическое подкрепление, названное Н. Коперником «посторонним».

Так же происходит в случае с неевклидовыми моделями пространства. Показательно, что повествовательное наблюдение, менее всех регламентированное со стороны теории, «в наибольшей степени подвержено объективным ошибкам» [189, с. 100]. Поэтому естественно, что теоретическая модель задает масштаб требуемой точности наблюдения, измерения и определяет шкалу, единицу кода, а во многом – язык эмпирического познания, значимость его результатов [69, 118, 119, 195, 208].

По сути, теоретическая модель выступает картиной некоторой грани реальности, организующей эмпирический поиск, делающей его осознанным, контролируемым, планируемым, направленным, определенным (ограниченным), а результаты – осмысленными, взаимосвязанными, значимыми. Таким образом, на модельном уровне научная теория активна в отношении как инициирующей ее генезис эмпирии, так и всякой другой: она описывает (выбирая) факты, прогнозирует, а также объясняет и интерпретирует их [6, с. 29–44; 13, с. 155–178; 131, с. 9; 132, с. 24]. Описание, объяснение и предвидение – не только функции, но и определенные уровни и стадии формирования научной теории, оказывающие специфическое воздействие на эмпирию, причем, стадии, характеризующие именно модельную часть теории.

Научную теорию нельзя считать сформировавшейся до тех пор, пока не сформировалось эмпирическое основание. Новая теоретическая модель, будучи мало апробированной, слабообоснованной и шаткой, «защищает» себя ссылками на несущественность множества фактов, несовершенство средств наблюдения и эксперимента, многочисленные помехи при эмпирическом соотнесении ее с фактами и т. п. [143, с. 113]. Но дальнейший генезис требует четкого, однозначного отношения к любому факту. Требует возможности такого отношения, которое реализуется при построении *ad hoc* теоретических моделей.

Привязка теоретической модели к определенному носителю выступает как предметная (материальная) модель объекта. Особым случаем опредмечивания теоретической модели является знаковая модель. Следует различать знаковую модель и знаковое оформление (выражение) теоретической модели.

Выражения требует любая интерпретация. Факт, будучи результатом интерпретации, также требует выражения в определенном языке. Последний имеет целью конвенциональное кодирование модели, которое не обязательно должно быть изоморфным оригиналу. Допустимы конвенции (условности), свободные от изоморфизма оригиналу. Этим характеризуется и знаковая модель – максимально условная из всех возможных типов моделей. Строящаяся из условных элементов, она должна иметь аспект безусловного структурного совпадения с оригиналом. Определенная теоретическая модель может быть подвергнута исследованию эмпирическими методами.

Характер последних в таком случае существенно зависит от характера модели, а этот последний – от материала и характера воплощенной теоретической модели. В силу генетической вторичности такой модели теории принадлежит исключительная роль в методологии ее эмпирического исследования.

Весьма важно, что в качестве модели может выступать не только искусственно созданный результат опредмечивания, но и естественный объект, по аналогии и ряду других причин принятый за модель. В одном случае с такой моделью можно поступать так же, как с искусственно созданной, т. е. делать поправку на меру условности

при отождествлении модели и оригинала. В другом же случае объект, принятый за модель, может оказаться проявлением исследуемой сущности, как, например, произошло с выбором Англии при разработке К. Марксом теории капиталистического общества.

Промежуточным случаем между результатом целенаправленного конструирования предметной модели и подбором в качестве таковой естественного предмета являются применяемые в психологии (и других науках) примеры из художественной литературы, которые хотя и сконструированы художником, но в отношении научной теории выступают, скорее, как естественные модели. Так, Ф. Е. Василюк иллюстрирует возможности своей теории примерами из жизни Р. Раскольникова, переживающего за совершенное преступление [46, с. 162–176]. Другой пример промежуточного случая при использовании моделей представлен в работе Н. И. Сарджвеладзе, который многие теоретические выкладки иллюстрирует на сконструированном, но легко соотносимом с реальностью типе руководителя директивного склада [197, с. 192–194].

Но любая целенаправленная работа с моделью, даже чисто описательная – с иллюстративными целями, продолжает научное исследование в единстве взаимодействующих друг друга его эмпирической и концептуальной сторон. Например, «особенности различных жизненных миров... носят внеисторический, формально-логический характер, их совершенно недостаточно для понимания определенного содержания переживания конкретного человека, живущего в определенную историческую эпоху и в определенной культурной среде. Поэтому типологический анализ переживания должен быть дополнен культурно-историческим анализом» [46, с. 156]. В случае с Р. Раскольниковым Ф. Е. Василюк исходит из христианской системы ценностей. «Сам факт убийства был для Раскольникова бессмысленным, от него не было никакого пути. От сознания его как преступления были лишь путь к признанию в преступлении и принятию социального наказания. Осознание его как греховного привело к ценностному осуждению поступка и открыло осмысленную для героя перспективу преодоления его истоков и следствий» [46, с. 175]. Сделанный им анализ показывает, что «введенные теоретические средства позволяют даже такую

сложную для объективно-психологического подхода вещь, как религиозное переживание включить в сферу строго научного психологического объяснения» [46, с. 177].

Отметим, что выделение знаковой, искусственной и естественной моделей соответствует общепризнанным классификациям [33, с. 11–16; 159, с. 62; 241]. Хотя были и возражения против отнесения к моделям естественных объектов проявлений исследуемой сущности: «моделью может стать лишь объект иного рода» [155, с. 41]. Поэтому, например, «на квантово-механическом уровне элементарные частицы исследуются со стороны их тождественности, а не различия, т. е. один объект выступает как представитель класса, но не как модель. Знания, полученные относительно одного объекта, не надо переносить на другие объекты, ибо это знание есть знание о всех объектах такого рода» [155, с. 40].

Однако знание о всех объектах определенного рода получить эмпирически возможно очень редко: типичной будет бесконечная индукция. Теоретически же элементарные частицы не могут не исследоваться прежде всего со стороны их тождественности, поскольку этому предпосылается определенное модельное видение, подтверждающееся в каждом отдельном случае и потому экстраполируемое на все другие случаи. Любая модель есть приближение к оригиналу. Это приближение в пределе есть тождество модели с оригиналом. Такой предел далеко не всегда, а порой и никогда не предстает во всей плоти, однако сам по себе не является чисто субъективным допущением, поскольку имеет прочное объективное основание [128; 129]. «Все, что угодно, может быть моделью, всего чего угодно!.. Любые две вещи во вселенной имеют некоторое общее для них свойство и... существует некоторое отношение, связывающее их между собой» [40, с. 30]. Как писали А. Розенблют и Н. Винер, «лучшая материальная модель кошки – это другая кошка, хотя желательно, чтобы она была той же самой кошкой» [40, с. 32].

Думается, что подобный «панмоделизм» [159, с. 49] и правомерен, и полезен. В таком случае «в понятие модели в соответствии с нашим определением не входят все построенные из идеализированных абст-

рактных объектов теоретические системы, пока и поскольку они не интерпретированы применительно к материальным, информационным или комплексным компонентам объективной реальности» [159, с. 52].

Большой эвристический запас содержится в допущении, когда на материальный объект смотрят как на условный результат материализации некоторой теоретической модели, что существенно влияет на характер эмпирических исследований оригинала. В таком случае исследуемый объект предстает сразу в двух ипостасях: и как оригинал, что открывает возможности исследования его с других концептуальных позиций, и как модель, изучение которой должно определяться имеющейся теоретической моделью.

Дело в том, что сама «реальность имеет многослойную структуру. В реальных ситуациях эти слои взаимодействуют друг с другом, образуя пеструю картину бесконечно разнообразных хаотичных переплетений, связей и отношений. Однако можно найти или искусственно воспроизвести экспериментальными средствами такие ситуации, в которых возмущающее влияние одного слоя на другой будет предельно малым. И тогда обнаруживается, что каждый слой определен природой бытия в качестве независимой реалии. Хотя интегральный вклад всех этих реалий образует в конечном счете целостную симфонию бытия, каждый инструмент существует и функционирует сам по себе как нечто вполне самостоятельное. Только тонкий слух способен уловить голоса отдельных инструментов в общей полифонии звуков. Таким же абсолютным слухом должен обладать и разум, чтобы с помощью абстракции выделить в чистом виде тот или иной слой бытия. Хотя посторонний шум может заглушить звуки оркестра, существует принципиальная возможность выделить музыкально-смысловую информацию из внешнего шумового фона» [84, с. 100].

Каждой теоретической модели может соответствовать определенный слой реальности, который и схватывается ею целостным образом. Складывается система моделей, отношения между которыми имеют далеко не только дедуктивный характер.

Реально объект отображается во многих теоретических моделях, и они все «могут быть истинными, поскольку понятие “истинно” –

в силу требований семантики смысла – необходимо заменяется на понятие “истинно в модели”» [149, с. 272]. В иерархии теоретических моделей ближе к реальности должны считаться те, что позволяют условно смотреть на оригинал как на результат их опредмечивания. Иначе говоря, если опредметить такую теоретическую модель, то в виде предметной модели явится изучаемый оригинал, тогда как другие теоретические модели воспроизводят лишь те или иные существенные грани оригинала.

Понятно, что теоретик, скорее, стремится к такой полной теоретической модели, чем создает ее. Но и здесь следует учитывать диалектику взаимопроникновения цели и движения к ней. Лучший способ избавиться от неизбежной условности моделирования – условиться об оригинале как лучшей модели: «отсылка к объекту – это один из вариантов построения моделей» [40, с. 33]. Полнее других теоретических моделей такому объекту соответствует *ad hoc* теоретическая модель. Изучение же оригинала как предметной модели эмпирическими методами диктуется, как и изучение любой другой предметной модели, теоретической моделью. В свою очередь, такая квазимодель может стать объектом особого концептуального подхода, в результате которого неизбежен диалог подходов, а следовательно, более широкое и глубокое осмысление оригинала.

3. ФАКТЫ КАК AD HOC КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

В литературе бытует неоднозначное и даже негативное отношение к ad hoc теоретическим построениям как к нежелательным, хотя и неизбежным, вынужденным, а потому временным и подлежащим преодолению. «К ad hoc относятся такие приемы теоретизирования, естественным назначением которых является ликвидация трудности экспериментального или теоретического порядка, возникшей перед существующей теоретической системой объяснения явлений. Причем, в отличие от научных модификаций, преследующих, казалось бы, ту же цель, но обеспечивающих действительное разрешение проблемы, модификации ad hoc дают лишь мнимое ее разрешение» [83, с. 78].

Такая трактовка ad hoc построений – следствие неоправдавшего своих методологических притязаний фундаментализма в его теоретическом варианте, согласно которому не имеет самоценности никакое частное знание, тем более знание, касающееся единичного случая. Это вытекает из пануниверсалистской онтологии, элиминирующей все уникальное и индивидуальное, редуцирующей все к всеобщему. Но стоит только признать самоценность индивидуального, уникального и их нередуцируемость, как совершенно иную оценку приобретают и ad hoc теоретические образования. Они в большей степени, чем обобщенная номотетика, приближены к реальности, отражая не только всеобщее, но и уникальное, их конкретный синтез, получить который невозможно обыкновенным дедуктивным выводом единичного из общего. Потому ad hoc построения неизбежны в науке и весьма ценны для нее несмотря на явное их несоответствие фундаменталистским научным идеалам, имеющим своих сторонников и в наши дни.

Примером уместности и эффективности ad hoc теоретических конструкций может служить недооцениваемая и сегодня исследовательская программа Э. Ч. Хьюза (1897–1983), о которой напомнил отечественному читателю В. Г. Николаев [162]. В 1950-е гг. Э. Ч. Хьюз инициировал в Чикагском университете изучение профессий качественными методами, прежде всего основанными на этнографическом на-

блюденнии. Первым результатом этой программы стала волна монографических и журнальных публикаций по этнографии занятий и профессий (Г. С. Беккер, Б. Гир, Р. Голд, Э. Гоффман, Ф. Дэвис, Д. Рой, А. Л. Страусс и др.), в том числе весьма знаменитые книги «Парнишки в белых халатах» [254] и «Изготовление остепененных» [253]. Своеобразие наследия Э. Ч. Хьюза является общим для всей чикагской социологической традиции. Оно базируется на прагматистских основаниях и включает ряд этапов:

- 1) конструирование гибких понятийных рамок;
- 2) выстраивание в этих рамках совокупности гибко связанных содержательных обобщений на основе постоянной погруженности в полевые исследования;
- 3) сравнение их результатов.

Такого рода теория сама по себе противится переводению ее не только в претендующие на вечность формы, но и в обеспечивающие ей какую-либо долгосрочную фиксацию. Она крайне плохо поддается формализации и мало пригодна для таких считающихся важными каналов передачи знания, как трактаты, учебники и словарные или энциклопедические статьи. Основным способом трансляции этих теорий и концепций являются нетипичные для бюрократизированной науки каналы: преподавание, неформальное общение, руководство исследованиями (передача знания из уст в уста и из рук в руки). Данный способ передачи ведет к тому, что в дисциплинарной научной памяти это знание закрепляется как некоторый набор общих принципов, понятий и способов теоретической работы, плотно инкорпорированных в исследовательскую практику и редко со всей ясностью проговариваемых. При этом соответствующие принципы, понятия и способы выводятся за пределы эксплицитных форм кодификации и передачи знания и почти не сохраняются в истории теории, доступной представителям той же науки вне этой традиции.

В работах Э. Ч. Хьюза, посвященных разным предметам, тем не менее присутствует единая, хотя и недостаточно эксплицированная перспектива, придающая им когерентный характер и делающая их теоретически очень насыщенными. В общих чертах она совпадает с «социально-экологическим подходом» Р. Э. Парка, но отличается поня-

тийным аппаратом [257]. Р. Хелмс-Хейес назвал эту перспективу «интерпретативной институциональной экологией» [258]. Основные единицы, на которых она фокусирует внимание, – «институты» как «действующие предприятия». Они изучаются с нескольких точек зрения, и социологические интерпретации выстраиваются в их взаимной игре.

Конститутивными для этого подхода являются две точки зрения:

- 1) экологическая и интерпретативная (в том числе культурологическая);
- 2) социально-психологическая.

Другие аспекты институтов – экономические и политические – тоже принимаются во внимание, но в контексте, заданном этими двумя полюсами. Таким образом, Хьюзова перспектива ориентирована на многомерное синтетическое рассмотрение «институтов», которые при этом трактуются как конкретные (*ad hoc*) конфигурации взаимосвязанных действий множества участников, а не как «системы» или «институты» вообще, т. е. не как обобщающие концепты. В этом состоит своеобразие подхода, который предложил Э. Ч. Хьюз.

Социология Хьюза содержит весьма тонкий, сложный и подвижный в значениях понятийный аппарат. Благодаря многомерной рамке в ней достигается сложное и оригинальное совмещение элементов и тем из социологий целого ряда признанных классиков, таких как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Э. Парк, А. Р. Рэдклифф-Браун и др. Хьюзова социология насыщена теоретическими понятиями и моделями, но последние никогда не могут быть оторваны без ущерба для смысла от тех конкретных (*ad hoc*) проблем и контекстов, к которым они применяются. Их сила как раз и кроется в этом теснейшем соединении с конкретными реалиями, эмпирическими исследованиями, с фактами. Это соединение делает их эффективно работающими, а эмпирические детали и частности – не просто понятными, а наполняющимися множеством смыслов, ускользающих как от взгляда обывателя, так и от взгляда теоретиков, ориентированных более формально (теоретико-схоластически, отвлеченно-концептуально).

Ключевое отличие Хьюзовой социологии занятий и профессий от других ее версий состоит в симбиотическом удерживании в себе МЕЖ-

концептуального диалога с эмпирией. Все стандартные социологические понятия при подобном соединении приобретают нестандартное и непривычное звучание. Нередко двусмысленное, как, например, понятие «роль» (part), обозначающее одновременно и «часть системы» (part), которая, в свою очередь, понимается совсем не так, как в структурном функционализме. Все понятия в той социологии, которую оставил Э. Ч. Хьюз, имеют несколько смещенные значения (как и у его более известного ученика Э. Гоффмана) – смещенные их применением к многочисленным рассматриваемым ситуациям. Более или менее стандартные (внешне) понятия дополняются целым рядом нестандартных, обычно заимствованных из обыденного языка, но используемых так же (в качестве формальных рамок), как и стандартные и в силу этого наполняющихся непривычными смыслами. В качестве примера можно привести понятие «ошибки в работе», которые могут совершаться не только врачами и юристами, но также профессиональными мошенниками, повивальными бабками, знахарями. Им приходится как-то справляться с промахами, в том числе скрывать от коллег и клиентов. А поскольку все они люди, и их проблемы в чем-то схожи, то делается это стандартными способами, которые являются у Хьюза предметом специального изучения. Таким образом, особый способ обращения с понятиями, практиковавшийся Хьюзом, постоянное соотношение их с единичными случаями (и с *ad hoc* описаниями) обуславливает своеобразие в постановках вопросов. Его наследие содержит оригинальное, доказавшее свою плодотворность сочетание теории, метода и эмпирического исследования, достижению которого обычно серьезно мешают внутринаучные специализации и технологии (схоластические методологии) познания, выстроенные на их основе.

У Хьюза, постоянно занимающегося *ad hoc* концептуальным конструированием, понятия настолько гибкие, что впитавшая их исследовательская традиция сохраняется уже более полувека, оказавшись, в отличие от более ригидных ее альтернатив, чрезвычайно жизнеспособной в изменчивых исторических условиях. Занятия/профессии не рассматриваются Хьюзом как самостоятельные саморазвивающиеся сущности или просто институты в ряду других институтов,

изучаемых отдельными отраслями социологии. Занятия – это всегда конкретные виды деятельности конкретных людей, и поскольку общество состоит из взаимосвязанных деятельностей, изучением занятий покрывается в каком-то смысле весь объем «общества» как предмета социологического изучения. Но в отличие от стандартных «системных» подходов (типа структурно-функционального) Хьюз ищет не абстрактные связи отдельных занятий с другими занятиями и обществом в целом, а то, как именно люди взаимодействуют в том или ином занятии индивидуально и коллективно с конкретными «средами», в которых занятие функционирует.

Эмпирическая, даже «натуралистическая» заостренность Хьюзовской социологии не является «довеском» к стандартной теоретической риторике структурных функционалистов, а оборачивается на деле обнаружением совершенно других связей, нежели те, которые кажутся естественными и самоочевидными кабинетным искателям «функций» или теоретикам «социальных обменов». Для Хьюза изучение профессий – не частная отрасль социологии, а общая социология, изучение самой ткани общества: «Максимальная польза может быть получена... только тогда, когда социолог постоянно помнит о своей конечной цели узнать побольше о социальном процессе вообще» [265, с. 283]. При этом социальный процесс, изучаемый в занятиях, сводится в конце концов к *ad hoc* взаимосвязанным *ad hoc* деятельности, с помощью которых и внутри которых конкретные, всякий раз уникальные люди решают свои *ad hoc* проблемы (в том числе создаваемые самими этими деятельностями).

В занятиях люди вовлечены именно как уникальные. Хотя общие проблемы, которые они в них решают, являются более или менее стандартными, однако проистекающими из «человеческой природы», где одной из непреходящих граней выступает уникальность каждого человека. Соответственно, взгляд на занятия, принимаемый Хьюзом, является не только общесоциологическим, но и антропологическим. Этот подход роднит Хьюза с другими представителями чикагской традиции, начиная с Р. Э. Парка (его учитель) и заканчивая Э. Гоффманом (его ученик).

Уникальностью характеризуются как люди и их занятия, так и социальные группы. В связи с этим существует не только техническое и экономическое, но и моральное, или «священное» разделение труда: разные группы людей приобретают особые монополии на свои виды деятельности и преимущественное право определять те части реальности, которые оказываются в их ведении, оценивать собственную деятельность (для обозначения этих прав вводятся понятия «лицензия» и «мандат»).

Пользуясь этим правом, занятия, захватившие некоторое место (нишу) в иерархическом порядке, борются за повышение своего статуса. Эта борьба за статус, равнозначная борьбе за выживание, есть борьба за сохранение и изменение ниши в экологическом порядке. Но разворачивается она в прямом взаимодействии вовсе не занятий, а прежде всего вовлеченных в них конкретных уникальных людей со своими клиентурами и публиками и служит в значительной мере для продвижения и навязывания им своих определений реальности, ценностей, систем оценки. Социальные группы через закрепленные за ними занятия стремятся к монополии на определение каких-то аспектов мира и работу с ними. В рамках разделения труда все без исключения профессиональные группы (от самых престижных до самых непрестижных) обладают «способностью... породить социальные правила и санкции и становиться непроницаемыми для попыток посторонних их контролировать» [265, p. 365].

Хьюз рассматривает разделение труда не только между занятиями, но и внутри них. Это не два разных разделения труда, а одно – рассеченное искусственной границей, заданной сосредоточением взгляда на конкретном занятии как объекте *ad hoc* изучения. Внимание к разделению труда внутри занятий является одной из своеобразных черт той версии социологии занятий/профессий, начало которой положил Хьюз.

Ad hoc контекст функциональных взаимосвязей, очищенный от смысловых (или ценностных) различий, позволяет включить в поле зрения социологии профессий виды деятельности, часто ускользающие от внимания исследователей при других концептуальных подходах к этой предметной области. К их числу относятся следующие виды занятий:

- неоплачиваемые;
- не только престижные;

- морально и юридически нелегитимные;
- зарождающиеся, не закрепившиеся, неименованные.

Все эти занятия втянуты в одну и ту же изменчивую и всегда *ad hoc* конфигурацию, в которой занимают свои текущие места и борются за выживание и повышение своего статуса относительно друг друга. Каждое реагирует на изменения в других занятиях, так как все они конкурируют за необходимые для их выживания ресурсы, часто – за одни и те же. Как институты и «действующие предприятия» (*going concerns*) для своего выживания занятия нуждаются в рекрутировании новичков, привлечении клиентов, их внимания, времени, энергии, денег и так далее. Но в силу ограниченности ресурсов успехи одних оборачиваются неудачей других, и целостная конфигурация занятий исторически меняется. Важным компонентом Хьюзовой социологии занятий является рассмотрение процессов конкуренции («борьбы за выживание»), в ходе которых старые занятия умирают, их место занимают новые; какие-то, завоевав престиж, превращаются в «профессии», а в каких-то под воздействием исторических условий и обстоятельств происходят серьезные внутренние трансформации.

Помещение «занятий» и «профессий» в одно поле и эмпирический (исторический, *ad hoc*) подход к предмету позволяют Хьюзу детально исследовать процесс «профессионализации», т. е. превращения занятий в профессии, и выявить такие его стороны, которые упущены другими подходами, в том числе связанные с коллективными представлениями, идеологиями, престижем, властью (эти стороны изучаются у него с помощью понятий «лицензии» и «мандата»).

Интеракционистский подход к занятиям как к деятельности дает возможность Хьюзу соединить социологию занятий с социологией досуга, включив досуг в одно поле с работой как занятостью той или иной деятельностью с целью получения дохода (средств к существованию). Такая возможность проявляется следующим образом:

- 1) о престиже занятия можно во многом судить по тому досугу, который он делает возможным;
- 2) разные виды досуга сочленяются с разными видами занятий;

3) распределение разных видов занятости и связанных с ними неравных престижей между членами общества соединяется с неравным распределением разных видов досуга и потребления.

Интерпретативная составляющая, вплетенная в Хьюзову многомерную перспективу, позволяет включить в поле зрения социально-психологический аспект занятий: связку занятий/профессий с человеческими «Я» и карьерами [264]. «Статус», понимаемый Хьюзом вслед за Парком как определенное место в обществе, делающее человека «персоной» (личностью), неотделим от того, в какое конкретное занятие человек вовлечен.

У Хьюза в качестве синонима к слову «статус» чаще используется понятие «должность». Борьба за «статус» (в указанном смысле), равнозначная борьбе за место в обществе, за общественное признание (престиж), за свое личностное бытие и, стало быть, за свою полноценную человечность, реализуется как борьба за присвоение «должностей» и их удержание. «Должность» является *ad hoc* точкой соединения социальных структур и институтов с карьерами и биографиями. Антропологически мотивированные деятельности людей в «должностях», в которых реализуются занятия и профессии, являются двигателями тех самых процессов, которые изучаются социологией занятий. Соответственно, эти процессы не могут быть полностью изучены без интерпретации тех смыслов, которые оформляют и направляют человеческие усилия.

Занятие, в сущности, это не какой-то особый набор деятельностей. Это роль (part) индивида в некой продолжающейся системе деятельности. Речь идет о том, что занятия в социологически значимом смысле конституируются не специализированными техническими деятельностями, из которых они складываются, а ролями, соотносящимися с другими ролями. Эти же роли придают форму человеческим биографиям и человеческим «Я»: через них биографии («карьеры») и личности деятельно сочленяются с разделением труда и с социальной структурой в целом. Рассмотрение занятий в интеракционно-культурном контексте делает возможным уничтожение границы между

социологией занятий/профессий и дисциплинарно обособившейся от нее социологией образования.

Еще два важных момента в процессе профессионализации, внимание к которым обусловлено спецификой Хьюзова подхода:

- дифференциация разных видов карьер внутри профессии (прежде всего практических и исследовательских, преподавательских и административных);
- сосредоточение престижа профессии в не практических карьерах, отдаленных от практики как от «грязной работы».

Осознание этой внутренней дифференциации в занятиях/профессиях не только закрыло путь к абстрактным рассуждениям о них как о гомогенных единицах, но и привлекло исследовательское внимание к недооцениваемым ранее участникам трудовых «драм», например, медсестре в медицине.

Хьюз был проповедником исследования *in situ*, трактуя полевую работу как этнографию, сочетающую в себе включенное наблюдение и разные виды интервью, что и сделало возможными многочисленные *ad hoc* концептуальные построения. В какой-то мере это связано с его антропологическим бэкграундом (по образованию он антрополог). Исследования *in situ*, трактуемые им как «изучение общества в действии», дают доступ к действительным социальным процессам и позволяют получать эмпирические данные, на основе которых можно строить надежные обобщения. Внимательное отношение к эмпирической стороне дела не означало, между тем, ни «ползучего эмпиризма», лишённого каких-либо теоретических целей, ни индуктивного метода в грубом его понимании. Данные, собранные в «поле», требовали организации, систематизации и генерализации.

Основными инструментами решения этой задачи у Хьюза были понятия и сравнительный метод.

Понятия (такие как «мандат», «лицензия», «грязная работа», «роль», «священное разделение труда», «ошибки в работе» и т. д.) использовались Хьюзом как эвристические, или «сенсibiliзирующие» – своего рода пустые формы, которые могут наполняться разными содер-

жаниями, обнаруженными в ходе полевых ad hoc исследований. Обобщения должны опираться на сравнение разных случаев и классов случаев.

Сравнительный метод принял у Хьюза форму трансконтекстуальных сравнений, игнорирующих культурно закрепленные обыденные и научные классификации. Это позволило ему сравнить, например, развитие образовательных институтов с развитием сект, а занятия мусорщиков, полицейских, медиков, джазменов и эсэсовцев друг с другом с помощью понятия «грязная работа», соотнести престижные и непрестижные профессии психиатров и проституток.

Э. Ч. Хьюз – это лишь один из ярких примеров набравшего силу в течение всего XX в. осознания неизбежности отхода от абстрактных, «голых» умозрительных схем, удобных на начальных стадиях университетского образования, но не при принятии эффективных управленческих и иных практических решений.

Во всех, особенно в социально-гуманитарных науках важен выход на уровень ad hoc теоретических построений, интегрирующих не только умозрение с его неизбежным (и вынужденным) разнообразием методологических подходов, но и непосредственный контакт с жизнью, погруженность в нее, а также субъективную (вопреки адептам безупречного научного «объективизма») заинтересованность – в улучшении, оптимизации, эффективности. В этой точке соединяются наука и практика, исследование и управление.

Динамику растущего признания важности ad hoc концептуальных построений представил еще сочувствующий им П. Фейерабенд. По словам классика методологии науки середины XX в. К. Поппера, новые теории обладают и должны обладать избытком содержания, которое постепенно портится приспособлениями ad hoc, но этого следует избегать. По мнению же классика методологии науки конца XX в. И. Лакатоса, новые теории появляются способом ad hoc и не могут появляться иначе, а избыток содержания создается и должен постепенно создаваться посредством распространения новых теорий на новые факты и области [218].

Эта динамика коснулась и настроений Ф. Е. Василюка. Конструируя виталистически ориентированную теорию переживания, он был оза-

бочен не только и не столько концептуальными построениями. Во время написания им «Психологии переживания» он был психологом в психиатрической клинике в Крыму, да и перебравшись потом в Москву, где занялся преподавательской, научной и организационной работой, остался действующим психологом-практиком, участвующим в судьбах конкретных людей – в каждом случае побуждавших его к ad hoc концептуальным построениям. Потому он и пришел «к “понимающей психотерапии” (ср.: «интерпретативная социология» Э. Ч. Хьюза – *авт.*), ядро которой составляет “психотехническая система”... – специфический “организм”, включающий в себя психологическую теорию и практический метод, организм, где теория включает практику как основу всякой своей научной операции, где теория своим предметом делает не некий “объект”, а “практику-работы-с-объектом”, где адресатом теории является психолог-практик, и где, с другой стороны, практика является не просто изнутри просвещенной и извне оправданной данной теорией, а где сама она является центральным исследовательским методом» [154, с. 243].

Практика побудила Ф. Е. Василюка выделить конкретные «единицы анализа», каждая из которых состояла из двух «нераздельно, но и не-слиянно» связанных между собой процессов: один – относящийся к полюсу пациента, другой – относящийся к полюсу психотерапевта.

В работе «Уровни построения переживания и методы психологической помощи» им были описаны четыре такие концептуальные базовые единицы:

- рефлексия – *майевтика*;
- непосредственное переживание – *эмпатия*;
- сознание – *понимание*;
- бессознательное – *интерпретация*.

Каждая из этих единиц включает в себя тот или иной ad hoc акт сознания пациента, с одной стороны, и ad hoc действие терапевта, с другой, взятые в их ad hoc единстве и взаимоутверждении. Так, например, конкретное чувство пациента не в силах стать диалогической реальностью психотерапевтического процесса без ответного эмпатического отклика со стороны терапевта, а ошибочное действие пациен-

та не способно «узнать», что было бессознательным актом без соответствующей интерпретации терапевта. «Методические» полюса этих психотехнических единиц – эмпатия, понимание, майевтика, интерпретация – могут быть отнесены к категории «герменевтических» процедур в том значении герменевтики, согласно которому она есть не просто истолкование текстов, но «свершение бытия» (М. Хайдеггер), а точнее, свершение со-бытия [154, с. 246].

Соотнести абстрактную концептуальную базовую единицу с каждым раз конкретной уникальной ситуацией со-бытия пациента и психотерапевта, совершить *ad hoc*, т. е. именно для нее – конкретной и уникальной – концептуальное построение, создав максимально адекватную модель оригинала, совсем не просто. Например, «“рисунки”, “копии” и даже “зеркальные” отображения являются отнюдь не базовыми, простыми, а необычайно сложными вариантами репрезентации. Их можно считать базовыми и простыми только в одном смысле: это наиболее знакомые и близкие нам формы репрезентации... Но, если вдуматься, эти почтенного возраста примеры “прошлых” и “точных” копий, фотографий и т. п. на самом деле представляют собой невероятно сложные преобразования свойств объекта, причем лишь некоторых специально отобранных его свойств» [40, с. 37]. Без сомнения, такие преобразования, отбор – результат концептуальной, теоретической детерминации чувственной и эмпирической сфер.

С. Ф. Мартынович полагает, что «относительно самостоятельными формами теоретической детерминации факта можно считать, во-первых, истолкование данных наблюдений на основании знания законов предметной области, к которой относятся такие наблюдения, во-вторых, формирование факта в контексте стиля научного мышления, задающего образцы научной рациональности» [147, с. 159]. Законы Ф. Е. Василюк формулировал в процессе концептуального переосмысления всей психологии переживания. Стиль же его мышления определялся как принадлежностью к научной школе А. Н. Леонтьева, так и культурно-историческим контекстом, который выражала, кстати, и гносеология второй половины XX в. Ф. Е. Василюк не был активным читателем, а тем более участником событий в отечественной гносеологии этого

периода, но ее косвенное и опосредованное влияние на него как на человека, постоянно выходящего на эти проблемы, было неизбежно. Круг его научного общения был общающимся, в том числе с мэтрами отечественной философии науки. Эта сеть МЕЖчеловеческого общения – сеть до компьютерной эры – потому и сделала компьютерную эру возможной, что в информационно-компьютерных технологиях она обрела себе средство [108].

В это время, выражая результаты коллективных методологических размышлений, А. Н. Елсуков выделяет следующие стадии процесса детерминации эмпирии теорией [76, с. 54–55]:

- 1) формулировка цели поиска;
- 2) определение предмета исследования;
- 3) разработка плана эмпирического познания, определяющего последовательность операций, наблюдения и практического воздействия на предмет изучения, координацию познавательных процедур и творческих коллективов;
- 4) подбор или конструирование технических средств (приборов наблюдения и измерения), создание экспериментальной установки и подготовка ее к работе;
- 5) выбор средств описания.

Способом указанной детерминации является не только и не столько дедукция, сколько метафора – «риторическая фигура, которая путем аналогии наводит на мысль о... сходстве... В конце концов, теоретическая наука – это в основе своей упорядоченное использование метафоры» [200, с. 256]. Именно упорядоченное, поскольку «никогда нельзя с уверенностью предсказать, насколько далеко может быть распространена аналогия» [200, с. 257]. Аналогия, которая «способна предполагать, на ней строятся все гипотезы и теории, но она не может ничего доказать» [200, с. 257].

Еще М. Бунге довольно точно охарактеризовал взаимодетерминацию факта и теории: данные могут стимулировать создание теорий, данные могут активировать теорию, данные могут проверять теории, теория может служить проводником в поисках данных, случайные данные бесполезны (а иногда могут вводить в заблуждение), теории

не имеют никакого наблюдаемого значения (если надо ввести дедуктивно потенциальную информацию, то эмпирическая информация должна быть введена извне) [36, с. 69–70]. Все это свидетельствует и о явной недостаточности методологического монофундаментализма, будь он эмпиристский или теористский. При этом остается верным утверждение, что «в поисках критериев ad hoc методологи всегда вынуждены считаться с наличием в оценках прагматических (внелогических) моментов» [83, с. 98].

В монографии «Психология переживания» Ф. Е. Василюк не доводит конкретизацию своей теории до многообразия ad hoc моделей (за некоторым исключением), в том числе «по той простой причине, что... психокоррекционная, а тем более психотерапевтическая практика... настолько сложна и многогранна, что она в принципе не может уместиться в одну, даже самую стройную... схему, психокоррекция и психотерапия слишком искусство, чтобы можно было даже очевидные случаи успеха объяснить истинностью теоретических схем» [46, с. 184–185]. Конечно, в любой науке согласование теории и эмпирии, тем более – теории и практики требует мастерства и искусства. Но если речь идет не просто о теории, а о теоретических схемах (моделях), то задача теоретика – максимально приблизить схемы, модели, нелинейную, объемную, недедуктивную, полисистемную их целостность, задаваемую концептуально, к практике, к уникальным, эмпирически фиксируемым случаям, т. е. развить теорию до ad hoc теоретических моделей.

В этом плане дальше Ф. Е. Василюка идет Н. И. Сарджвеладзе. Его исследование посвящено близкой проблематике «возможных образцов взаимодействия личности с социумом, отношения к внешнему миру и самоотношения, а также механизмов перехода виртуальных состояний, свойственных целостной системе “личность – социальный мир”, в реальное, манифестированное поведение» [197, с. 3]. В работе четко прослеживаются этапы использования методолого-типологических построений О. И. Генисаретского, активно применяемых и Ф. Е. Василюком.

1-й этап – принятие конструктивной идеи целостного виртуально-актуального жизненного мира.

2-й этап – построение абстрактного элементарного объекта в виде диспозиционального ядра личности [197, с. 45–48].

3-й этап – построение многочисленных теоретических образцов человеческих состояний и вариантов поведения, конкретизирующихся в направлении фактического материала, почерпнутого как в литературе, так и в психокоррекционной и психотерапевтической практике автора.

«Через понимание личности как “совокупности всех общественных отношений” мы пришли к идее о целостности системы “личность – социум” и задались целью дать характеристики ее структурно-динамических сторон; это осуществилось путем поэтапного выделения абстрактно- и конкретно-возможных образцов отношения человека к миру и его взаимодействия с социальным окружением. В результате этой работы было зарегистрировано определенное множество дифференцированных друг от друга состояний и образцов межличностного и внутриличностного взаимодействия» [197, с. 188].

Но *ad hoc* теоретическая модель – это не просто результат максимальной конкретизации научной теории в ее приближении к чувственно-практической сфере человеческой жизни. Это результат согласования конкретизации с чувственными данными, которые в каждом случае имеют черту уникальности. «Наиболее распространенным типом уникалий являются чувственные данные» [160, с. 67]; «чувство... сколь бы широким оно ни было, всегда относится к своей предметной области как к отдельному, уникальному объекту» [160, с. 71]. Психологически два этих информационных потока увязываются в некое единство в акте узнавания: «понятия сопровождаются чувственными образами и тем самым как бы имеют “общий знаменатель” с чувственными данными. Сопоставляя последние с понятиями, человек обнаруживает совпадение в ряде моментов, что психологически выражается в акте узнавания» [160, с. 72–73]. Это значит, что чувственные данные влияют на сознание тогда, когда последнее осмысляет их, наделяет смыслом. Если чувственная информация не поддается осмыслению, она не может «проникнуть» даже на уровень эмпирического знания.

Чувственная информация осмысляется каждым человеком индивидуально, но ее смысл выражается социальным средством – язы-

ком. Потому эта информация предстает перед индивидом и как факт его индивидуальной жизни, и как общественно зафиксированный факт. При этом важно помнить, что «факт, даже если это и феномен знания, идеального мира – не высказывание, а содержание высказывания» [237, с. 155].

Таким образом, всякое *ad hoc* концептуальное построение, имеющее пусть даже очень удачно согласующийся с ней «*hoc*» – реальный случай, выступающий как ее квазиопредмечивание, как воплотившая ее в себе предметная модель – требует своего выражения в языке, неизбежно приносящем момент конвенциональности и произвола («мысль изреченная есть ложь»).

С одной стороны, язык выполняет *функцию указания* – продуцирования оперативного знания. «Язык в функции указания так или иначе связан с конкретно-чувственными образами вещей и явлений, с переводом вербальных схем в наглядные и наоборот, его лексико-грамматические формы служат для обозначения отдельных вещей, отношений и событий, для их выделения и идентификации (назвать – значит узнать)» [132, с. 47]. Психологический момент узнавания, безусловно, подвержен субъективизму и произволу.

С другой стороны, язык выполняет *функцию обобщения*. «Язык в функции обобщения так или иначе связан с включением обозначаемой вещи или события в определенную систему отношений, относит их к той или иной общей категории» [132, с. 47]. Это включение, конечно же, тоже не свободно от конвенции как сознаваемой, так и неосознаваемой, социально-контекстной.

Следовательно, каждый факт – это живая проблема согласования чувственно-уникальной и концептуально-обобщающей информации. Как отмечает Г. Ш. Хуцишвили, уже «Витгенштейн в своем “Трактате” признает, что есть что-то общее в структуре факта и его образа в языке, но оно не выразимо ни языком, ни логикой или философией (оно может быть только “показано”, но не “сказано”...). То, что заставляет вас отображать факты в образы так, а не иначе, а так же смысл факта Витгенштейн относил к области мифического. Его поздние работы показывают, что приведенная позиция осталась для него непреодолимой, особенно ярко это проявляется в его концепции язы-

ковых игр. Однако то, что указанная философско-методологическая проблематика не поддается решению логическими средствами (не поддается рассмотрению в рамках логического пространства), не означает ее неразрешимости» [233, с. 74–75].

Эта проблематика решается практически в процессе самого научного творчества. Наш же жанр не позволяет выйти за рамки логического пространства, каким для психолога и является психотерапия, встреча и работа (со-работничество) с пациентом. «Научное знание не всегда может быть эксплицитно выражено. Оно имеет скрытый компонент, который не допускает оценки посредством формальных критериев. Такое скрытое знание эффективнее всего передается путем непосредственного социального взаимодействия» [140, с. 160].

«Именно это обстоятельство – факт науки, есть семантическое отношение исследователя к полученному им эмпирическому результату – является... решающим для понимания специфики фактического знания» [112, с. 89]. И если чувственная информация вызывает у исследователя семантическое отношение доверия, он и никто другой признает ее и придает ей значение истинности [112, с. 89]. «Именно достоверность фактов науки является... их сущностной характеристикой» [112, с. 87]. То же подчеркивал и В. П. Копнин: «В качестве факта может выступать только достоверное знание» [109, с. 226]. Это же отмечала и Л. С. Мерзон [151, с. 46]. Доверие – феномен чрезвычайно сложный. Он включает отмеченные субъективизм и конвенциональность, складывается под влиянием степени соответствия чувственной информации и смысла, выраженного в вербальной форме. Субъективизм, роль субъективного в формировании факта нельзя исследовать, игнорируя те аспекты сознания, которые стали предметом наиболее пристального внимания в феноменологии и требуют своего осмысления.

В формировании факта, конечно же, участвуют интенциональные действия. «Содержание таких действий невозможно установить чисто эмпирически, в отношении их можно только сказать, что они адекватны, если то, во что верят, или то, что утверждают в отношении объекта, действительно истинно, или то, в чем сомневаются, сомнительно» [11, с. 61].

Важно иметь в виду, что «основу сознания всегда образует $\delta\acute{o}\xi\alpha$, т. е. мир простого верования» [11, с. 37], к которому так высокомерно относились философы Античности и многие после них. Но «в чистом виде доксических актов не существует, так как $\delta\acute{o}\xi\alpha$ всегда смешана с определенными размышлениями, определенными ценностными переживаниями» [11, с. 37]. Кроме того, «вера в существование мира есть результат сложных тетических актов сознания, которые при естественной установке осознать невозможно» [11, с. 35]. «Суть тетических актов заключается в том, что в них конструируется сама преданность окружающего мира, т. е. мир рассматривается в качестве существующего еще до того, как утверждается существование отдельных предметов» [11, с. 35].

Исследование фактуальности как феномена не должно проходить мимо феноменологии, которая «представляет собой почти исключительное явление в области философии науки, ибо она сосредоточивается на исследовании очевидности» [168, с. 273], учитывая также, «что интенциональные структуры сознания не являются априорными образованиями, напротив, они очень разнообразны и определяются самыми разнообразными факторами, влияние которых в феноменологическом исследовании не учитывается» [11, с. 166].

Все эти обсуждения входили в социокультурный контекст, воздействующий на стиль и образ мышления и Ф. Е. Василюка, и Н. И. Сарджвеладзе.

Если чувственная информация осмыслена и выражена в языке некоторой теоретической модели, и тем самым научная теория находит здесь свою конкретизацию, то налицо *ad hoc* теоретическая модель, а при условии доверия – научный факт. Примером тому может служить перевод Ф. Е. Василюком случая из своей психокоррекционной практики на язык построенной им концепции, т. е. теоретическое моделирование для данного случая, становящегося фактом науки [41, с. 178]. Научный факт – это такая *ad hoc* теоретическая модель, которая включена в систему моделей данной научной теории различного уровня абстрактности, обобщенности, идеализации. Без этого включения факт существует автономно и может вызывать семантическое

недоверие, т. е. не согласовываться (рядом ученых) с системами теоретических моделей, принятыми в качестве истинных. В последнем случае ad hoc модели остаются гипотетическими.

Гипотетичностью может обладать любая познавательная форма, а значит, нет особой формы знания – гипотезы. Гипотетические ad hoc теоретические модели появляются, как правило, в тех случаях, когда «законные способы адаптации теории к экспериментальным данным оказываются исчерпанными», когда «может иметь место “кризисный” отбор селективно ценных ad hoc гипотез» [152, с. 40]. «Процесс перехода от старой научной теории к новой теории... представляет собой серию смысловых, интенциональных сдвигов, в результате которых происходит порождение новых, семантически частично несоизмеримых со своими предшественницами, “промежуточных” теоретических структур. Отправным пунктом этого процесса являются выдвинутые в рамках старой научной теории гипотезы ad hoc» [152, с. 49].

Гипотетичность, предположительность – следствие недоверия, сомнения. Но «сомнение приходит после веры» [51, с. 146]. Если же в результате согласования ad hoc модели с системой моделей научной теории к первой возникает доверие, то можно говорить о научном факте, который по своей природе всегда ad hoc концептуальное построение.

Научный факт выступает как истинный. Но «если истинное есть обоснованное, тогда само основание не является ни истинным, ни ложным» [51, с. 146], поскольку мы проверяем эту обоснованность. А «когда мы вообще проверяем, мы уже предполагаем нечто, что не проверяется» [51, с. 146]. «Трудность заключается в том, чтобы понять отсутствие основания у нашей веры» [51, с. 146]. Здесь следовало бы уточнить – отсутствие логического основания. «О вере действительно можно говорить лишь в том случае, если речь идет о чем-то, что не может существовать помимо самого акта веры» [141, с. 76]. А «фактическая сторона и есть сторона жизни, т. е. живая сила возможности, а не просто логическая возможность или намерение» [141, с. 79]. Одни и те же грани жизни могут отражаться различными научными теориями, выражаясь в языке различных ad hoc концептуальных построений, в языках, адекватно взаимопереводимых, если в них представлено действительно одно и то же.

Так, например, Н. И. Сарджвеладзе приводит факт, выраженный в языке и логике теоретической модели в рамках своей концепции, а именно, на языке модели «социальное требование статусной заданности – стремление индивида к статусной заданности» [197, с. 67–69]. Но путем перевода на язык концепции Ф. Е. Василюка можно построить *ad hoc* теоретическую модель, превращающую данный факт, доверие к которому подкреплено включением в иную систему теоретических моделей, в иной факт. Внутренний мир описываемой Н. И. Сарджвеладзе пациентки характеризуется как простой: ориентация на субординационную заданность статуса и поведения. Изначально ее внешний мир был легок. Но после окончания института, замужества и рождения сына происходит тройное затруднение внешнего мира, когда профессия врача требует иного поведения, чем подчинение или управление; когда гедонистически ориентированный муж не подчиняется и не управляет; когда сын, воспитывавшийся у родителей пациентки, не может стать объектом, равно как и субъектом управления. Очевидно, задача переживания, будучи творческой, предполагает несколько вариантов решения, касающихся изменений как внешнего мира (например, смена профессии, развод, полное предоставление воспитания сына бабушке и дедушке), так и внутреннего мира, выражающихся в смене ценностной ориентации, что наиболее предпочтительно.

Можно назвать и другой пример факта, относимого Н. И. Сарджвеладзе к модели субъект-объектного самоотношения [197, с. 100–103], переводимого в факт, включающийся в систему теоретических моделей концепции Ф. Е. Василюка. Для этого достаточно построить следующую *ad hoc* теоретическую модель. Внутренний мир пациента прост – ориентация на успех, подчинение всей жизни успеху как средства его достижения. Внешний мир (семья) – сложен. Если принятая ориентация и способствовала достижению успехов в учебе, в спорте, на работе, в быту и поначалу в межличностной сфере, то затем в последней, особенно в интимной области, она быстро вела к отчуждению и охлаждению. Возможное переживание – когда данная семья не может стать самоценной, то развод и создание обязательно самоценной семьи, подчиняющей доминирующую на данный момент ориентацию на успех.

Нужно сказать, что перед тем как строиться *ad hoc* теоретической модели, возникает соответствующая эмпирическая познавательная задача: «как образ будущего факта, но еще не заверченный образ» [31, с. 105]. Завершенным он становится после согласования эмпирического и теоретического, чувственного и рационального постижения стоящей за ним реальности. Следовательно, факт – это то, чему доверяет исследователь, потому факт – явление конкретно-историческое, релятивное, но имеющее и достаточно прочное основание в виде включения его, представленного как *ad hoc* концептуальное построение, в систему моделей определенной научной теории.

Последнее, конечно, не означает всецелой детерминированности научного факта теорией. «Научная эмпирия – это далеко не просто внедрение или перенос научной информации в научный образ действительности. Это, скорее, построение специального слоя научного знания в связи с наличием этой эмпирической информации» [238, с. 199], поэтому «включенность фактов в теоретический контекст интерпретативных теорий не означает отрицания их самостоятельного значения по отношению к объяснительным теориям» [237, с. 159]. Подтверждением тому служит возможность интерпретации одних и тех же фактов в рамках различных научных теорий.

Как отмечает Г. Селье, теоретическое «осмысление по большей части следует за случайным наблюдением, или же ему предшествуют те или иные эксперименты, в основе которых лежат главным образом интуиция и весьма поверхностные (и зачастую ошибочные) рассуждения. Истинное открытие очень редко произрастает из логических построений... Логика становится нужной в дальнейшей работе по подтверждению и оценке наблюдаемых явлений» [200, с. 247].

Кроме того, существует и эмпирия, не получившая со стороны данной теории никакой интерпретации. «Вся сложность понимания научной эмпирии как некоторого функционального образования в структуре научно-познавательной деятельности заключается в том, что, с одной стороны, опыт выступает здесь как фактор, действующий внутри науки, а с другой – действенность этого фактора определяется не чем

иным, как тем, что источник научной эмпирии лежит вне системы научного знания» [237, с. 151]. Наука не только находит новации в этом источнике, но и опосредованно взаимодействует с ним – через мировоззрение, искусство, обыденное сознание.

«Одну из характерных черт научного факта можно определить как двойственность его значения в системе научного знания. С одной стороны, научный факт может быть понят как элемент научной теории, как ее исходная эмпирическая база. С другой стороны, его можно рассмотреть как средство верификации данной теории, ибо его достоверность обеспечивается средствами, лежащими вне этой теории» [177, с. 232]. Поэтому вызывает возражение мнение, будто «эмпирическая концепция развития знания основывается на неверном тезисе о существовании совершенно независимого от теоретических привнесений языка наблюдений» [164, с. 98]. Независимый от теоретических привнесений язык наблюдений возможен, к примеру, во вненаучных формах и сферах сознания. А выраженные таким языком факты могут вступать во взаимодействие с научными теориями, если модельный уровень научных теорий будет подвергнут такой конкретизации, что факт окажется включенным в некоторую или даже в некоторые системы теоретических моделей.

Факты не свободны от определенных теоретических привнесений. Они являются полем диалога многих развернутых и неразвернутых в научные теории концептов, не только способствующих развитию и укреплению последних, но не менее успешно препятствующих и появлению новых, и разворачиванию имеющихся. Очевидно, чем больше концептов, тем больше вероятность, что все новые и новые опыты будут интерпретироваться в свете имеющегося знания.

Такое препятствие появлению новых концептов и теорий – продолжение, обратная сторона многообразных непосредственных и опосредованных форм подтверждения. Одновременно с подтверждением чего-либо опровергаются и некоторые возможные альтернативы. А если учесть, что альтернатива далеко не всегда обозначает движение вперед, то поликонцептуально интерпретированная эмпирия служит взве-

шенности и разумной осторожности в научном поиске, стабилизирует и предохраняет его от излишней поспешности и шатаний, активизирует имеющийся научно-теоретический потенциал, усиливает тенденцию к замкнутости научной теории.

В значительной мере подтверждение научной теории со стороны фактов – это опосредованное подтверждение данной теории со стороны многих других научных теорий как, например, демонстрируют это теории Ф. Е. Василюка и Н. И. Сарджвеладзе. Само сосуществование научных теорий, проявляющееся в относительно согласованной соинтерпретации фактов, служит источником подтверждения данных теорий в рамках единой научной картины мира, а факты являются опосредующим звеном такого подтверждения. Неслучайно К. Поппер, И. Лакатос и П. Фейерабенд по-разному опираются на одну весьма плодотворную мысль о том, что в случае столкновения теории с фактом мы в действительности имеем дело со столкновением двух теорий [161, с. 228]:

- *объяснительная*, которая приходит в противоречие с фактом;
- *интерпретационная*, которая обосновывает существование факта и придает ему теоретическую значимость.

Конечно, это побуждает к пролиферации концептуальных построений, но не только ради нее самой. Кроме того, изобретение новых концептов в соответствии с принципом пролиферации все равно будет сосредоточенным вокруг факта, уже этим подтверждающим свою автономию.

В пользу автономии фактов говорит пример отсутствия прочной эмпирической базы у некоторых теоретических построений. «Значительное число конкурирующих в космологии теорий и моделей Вселенной... сочетаются с весьма и весьма ограниченным эмпирическим базисом этой науки, что создает возможности разработки крайне умозрительных, произвольных, спекулятивных схем, наблюдательная проверка которых в настоящее время чрезвычайно затруднена или практически невозможна» [221, с. 52]. В связи с этим еще раз подчеркнем несостоятельность теористического монофундаментализма в методологии науки.

Важно и то, что факты, опровергающие те или иные теоретические положения, опровергают не столько саму теорию, сколько ее неограниченные предметные притязания. Опровергающие факты быстрее всего выявляют предметные границы научной теории. А границы – это не только нечто отрицательное, кладущее чему-либо предел, но и позитивное, поскольку обнаруживает предел и тем самым повышает определенность, а следовательно, устойчивость, стабильность, надежность в своих границах [89, с. 38–39]. Например, неудачи попыток физикалистского объяснения живого способствовали, в частности, прояснению предмета, задач, самой природы физического знания.

Повышение определенности научной теории, в свою очередь, ведет к осознанию ее мировоззренческой роли и ее места в научном знании о мире, в культуре в целом. Кроме того, любая теория прежде чем отступить от попыток интерпретации и интеграции труднообъяснимых фактов, проявляет огромные способности к выявлению внутренних объяснительных возможностей.

Немаловажное детерминирующее воздействие на научную теорию оказывает уровень развития эмпирии. В исторической науке, например, по замечанию М. А. Барга, теоретические конструкции возможны прежде всего по отношению к такому эмпирическому материалу, основанием которого служат наиболее зрелые и завершенные исторические факты [86, с. 14]. При этом спецификой исторического факта является то, что он, «не будучи ни объективным элементом реальности, ни совпадая с информацией источников, формируется как форма знания об объектах... в результате диалогического соотнесения источников в рамках определенной онтологической модели исследуемой реальности».

Итак, научный факт – автономное образование, способное служить самостоятельным генетическим источником, инициатором генезиса новой научной теории. Но научный факт – это и результат семантического отношения, зависящего от смысла, лежащего в концептуальной основе научного знания. Факт автономен в силу чувственно-уникальной компоненты, интерпретируемой различными способами. Неудовлетворительность интерпретаций побуждает к поиску новых.

Новые интерпретации, отгалкиваясь от старых, прежде всего от их языка, формируют новый язык, новые средства выражения, ведущие к построению таких теоретических моделей, в систему которых возможно включение факта. Включение же оказывается возможным при наличии у научной теории соответствующего потенциала, а у субъекта познания по существу внетеоретических, культурных средств этого включения. Потому оно происходит не всецело дедуктивно-логическим способом, а, скорее, метафорически.

Значит, не может идти речи не только о методологическом монофундаментализме, но и о бифундаментализме. Совершенно неизбежный и необходимый широкий культурный контекст, в котором существует взаимосвязь факта и концептов в научном познании, контекст, активно участвующий в ней, позволяет говорить о плодотворности антифундаментализма в методологии науки и видеть в би-, полифундаментализме лишь переходную форму отказа от монофундаментализма.

При наличии культурных средств включения в теорию факта последний предстает как *ad hoc* теоретическая модель, принадлежащая к недедуктивной системе теоретических моделей, а следовательно, научный факт выступает как результат генезиса научной теории, генетическим источником которой он мог являться. Это означает, что «одно и то же знание следует рассматривать как эмпирическое или теоретическое в зависимости от способа его введения» [77, с. 96]. Знание может быть как результатом научных поисков, так и источником дальнейших поисков. При этом сохраняется то различие, что «в эмпирической форме научного понятия вычлениются отличительные признаки исследуемого объекта, в теоретической форме научного понятия вскрывается всеобщая основа исследуемого объекта» [132, с. 22]. На различных этапах и в различных ситуациях научного познания одно и то же знание может говорить и об отдельных отличительных признаках, и о всеобщей основе исследуемого объекта.

Аналогичным образом факт как источник и факт как результат генезиса новой научной теории – это один и тот же факт. Но одновременно это и различные *ad hoc* теоретические модели, вызывающие

различные семантические отношения к себе: недоверия – в первом случае и доверия – во втором. Именно недоверие стимулировало научно-теоретический поиск, результатом которого стала новая научная теория. Доверие к ней на какое-то более или менее продолжительное время вывело факт за пределы познавательного беспокойства субъекта.

Следовательно, речь не должна идти не только о монофундаментализме, но и о фундаментализме вообще и би-, полифундаментализме в частности. Однако выявленный антифундаментализм в силу своей негативности не задает адекватной методологической ориентации, отвращая лишь от неверной. Неполнота всякой редукции к каким бы то ни было базисным (фундаментальным) структурам, будь то эмпирические, теоретические или иррациональные аспекты многомерного, подвижного, неопределенного, объемного познавательного процесса, свидетельствует о неполноте и неопределенности какой бы то ни было генетической связи в научном познании, генетической связи факта и теории в частности, что не устраняет реальности самой связи.

4. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФАКТОВ И КОНЦЕПТОВ

Научное познание предстает как непрекращающееся взаимодействие своих эмпирического, концептуального, мировоззренческого (предпосылочного, архетипического) уровней в изысканиях различных исследователей, результаты работы которых представлены в письменных текстах, устных речах, беседах, внутренних диалогах с самими собой и с представляемыми собеседниками, живущими или жившими, а для кого-то и с Богом. Неудивительно, что в качестве обобщающего для научного познания имени напрашивается термин «диалог».

Но в нем, как и в более точном термине «полилог», этимология «логоса» (λόγος) настраивает на «связность», «упорядоченность» («лего» – слово того же корня). *Диалог* – такое общение, такая синергия воли и сознаний, которые подчинены **логосу**, **смыслу**. Диалог, полилог – упорядоченное некими правилами общение, причем упорядоченное так, что важнее общения и важнее общающихся остаются правила, заданные предполагаемым (до процесса общения) смыслом, логосом.

Так, В. Франкл, полемизируя с психоанализом, сила которого не столько в его теории, сколько в практике, дающей пациенту пусть чаще суррогатное, но общение, настаивает, что важнее этого общения (диалога) – человеческое *достоинство* пациента в общении или в выпавшем на его долю одиночестве. Достоинство, по В. Франклу, хранимо опять же смыслом, который зовет человека, побуждает к самотрансценденции, к синергии с трансцендентным – тем, что, кто, Кто выходит за пределы его самости, пребывает за ними и обращается к нему.

Так что смысл, логос оказывается значимее, фундаментальнее не только диалога, но и достоинства. Такой логос связывает общающихся тем, что уже связал их с трансцендентным, в пределе – с Богом (в полном соответствии с этимологией лат. термина *religare* – «связывать, соединять», хранящего в себе тот же корень). А «диалог без логоса... – это в действительности взаимный монолог, всего лишь взаимное самовыражение» [223, с. 322].

Однако трансцендентное – не Сам Бог, который был бы таким образом уж очень просто постигаемым. Трансцендентное, т. е. буквально выходящее за пределы, находящееся за ними, – это Его (запредельного) отсутствие (отсутствие как процесс, а не только результат; динамика, а не статика отсутствия; не само отсутствие, которое можно прекратить, а способ, способы быть неприсутствующим, потому и за-предельным). Мы, тварный мир, расположены в этом отсутствии: Творец как бы дал место твари быть, уйдя из этого места.

Без такой трактовки любая теология остается полуязыческой, панентеистской. На это обратили внимание деисты эпохи Просвещения, продолжившие то, что не удалось эпохе Реформации, построившей вместо католической Церкви-посредника между человеком и Богом и на этом основании заменяющей, подменяющей Бога собой, еще одну церковь, множество церквей-посредников, монопольных (претендующих быть «единственно истинными») связанных с Ним.

Панентеизм – основа притязаний человека быть услышанным Богом: как язычник прибегает к магии, так панентеист – к молитве. Его молитва и есть род волхования, даже такое уклончивое притязание, каким ее предполагает православный синергизм св. Григория Паламы и его последователей, среди которых оказался и Ф. Е. Василюк. Он попал под обаяние московских философов А. В. Ахутина, В. В. Бибихина, С. С. Хоружего, стоявших с середины 1970-х гг. вне официального марксистского русла, равно как и всех его неомарксистских вариаций. Направляющей нитью для них служила обращенность к способу мышления, выработанному восточным христианством [232]: все члены этого круга считали актуальной задачей развить его современное понимание и раскрыть нереализованные философские возможности.

Данный способ отнюдь не отождествлялся с дискурсом, выработанным русской религиозной философией серебряного века: хорошо зная и ценя ее наследие, все-таки они относились к нему критически и находили нужным новое углубление в отечественную духовную традицию, новый непосредственный контакт с ее опытом. Первое выражение эти установки получили в критическом анализе русской религиозной философии в ранних работах С. С. Хоружего, создавшего в 1978 г.

шедевр «Диптих безмолвия» [230], а затем и другие весьма основательные тексты [232], а также в обращении к работе с творческим наследием св. Григория Паламы В. В. Биbihина (бывшего в те годы ближайшим помощником и сотрудником А. Ф. Лосева – одного из колосов русской философии, дожившего до 1988 г.). Выполненный им перевод «Триад» Паламы явился отправной точкой дальнейшего продвижения: мысль Паламы тут же стала интенсивно обдумываться, обсуждаться. Например, в контексте общего пристального интереса к М. Хайдеггеру, чьи труды в то же время переводил все тот же В. В. Биbihин, и чьи переводы на русский признаются лучшими.

Параллельно в работах О. И. Генисаретского по проблемам традиционной психологической культуры и современных гуманитарных психопрактик, также повлиявших на Ф. Е. Василюка еще во времена написания «Психологии переживания», наметилась линия исследований, названная им «гуманитарной исихастикой», содержательно прилегающая к оформившейся впоследствии синергийной антропологии. Путем такой интерпретации своих концептов, психотерапевтической практики, получаемым в ее ходе фактов Ф. Е. Василюк и пошел. Симптоматично, что, уделяя значительное внимание категории «смысл», к термину «диалог» он относился ровно. Потому что, прежде чем прикнуть к православной синергийной антропологии, он понимал и психотерапевтическую практику, и всякое творчество, в том числе научно-теоретическое, как синергию, т. е. не ограниченными логоцентричными предпочтениями, такими обычными в научной среде.

Затем Ф. Е. Василюк вышел на включение в интерпретацию всей совокупности взаимодействий еще и синергии – синергии Бога и человека. Наука и религия стали в его жизни нераздельны, хотя и неслиянны, согласно христологической и триадологической парадигме. Потому в «Психологии переживания», да и в более поздних его публикациях явные и многочисленные следы исихазма найти трудно. По замечанию В. В. Биbihина, о самом важном молчат [27], так что в силу профессиональной этики и своей веры Ф. Е. Василюк в публикациях чаще шел путем «поводов и намеков» [182]. Намеков о самом важном, к чему читатель может прийти только сам, пусть и с чьей-то

помощью, включая Божью, во что уверовал Ф. Е. Василюк. Эта пантеистская идея была ему очень дорога. Но о том, как на него действовала ее энергия, могут говорить только те, кому довелось быть непосредственно причастным к данной практической работе.

Науку творят люди. Движут ими самые разные мотивы. Вдохновляют порой совершенно неожиданные, неожиданные другими идеи. В поле академического общения эти идеи могут вообще не выноситься, не артикулироваться в нем, а обсуждаться только среди единоверцев, единомышленников. За пределами обсуждаемых фактов, концептов, концепций, теорий, теоретических моделей обнаруживает себя то человеческое, которое остается укромным и интимным, вторгаться во что – дело порой слишком деликатное, чтобы позволять его себе даже издали. Советская гносеология исходила как бы из само собой разумеющегося идеологического единоверия, что тоже позволяло не очень-то углубляться в этот пласт, уровень мышления, все же имеющий прямое отношение к методологии науки, особенно к осмыслению научно-теоретического творчества.

Затем наступили годы откровений и вторжения в мировоззренческий уровень мышления теоретиков. Они показали, что его осмысление оправданно, пожалуй, лишь ретроспективно. В актуально интимное, откуда теоретик, любой творческий человек черпает свое вдохновение, энергию своей мысли, вторгаться нельзя: вторжение губит либо вынуждает имитировать то, чего ждет вторгающийся в него. Так было под идейным партийно-государственным прессом. Так будет и при любом другом идейном прессе. За постсоветские годы стало понятно и то, что в качестве пресса можно взять любую, включая кажущуюся самой светлой и доброй идею, отнюдь не всегда всем близкую. Идейное единство, если оно искреннее, касается немногих.

Но у привилегированного по своей природе социального института – у государства – есть возможность объявлять и насаждать привилегированную идею. С помощью монополии на насилие оно может попытаться распространить ее на всякое, в том числе научное творчество, внедрить в него, навязать ему. Но творческий человек вдохновляется не по приказу.

От деликатности, великодушия и щедрости государства, от его признания университетской автономии и академических свобод по-прежнему сильно зависит то, к каким фактам, концептам, концепциям, теориям и моделям будет обращено внимание большинства. Большинство, которое всегда состоит из людей, ищущих способа адаптации в том социуме, в котором они живут, даже если управляют ими через удушение.

Потому-то в академическом сообществе так редко прибегают к большинству голосов как способу определения истины. Даже консенсус не свят. Свято лишь право возразить. Клерикализм – исторически испытанная узда на многоголосие, без которого наука чахнет. Не от религии и не от атеизма – от принуждения к вдохновению чахнет наука, любое творчество: «дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8), а не где прикажут. Вдохновение, а не только факты и концепты вело и Ф. Е. Василюка. Вдохновение черпает энергию за их пределами.

Конечно, его теория может быть развиваема и вне панентеизма, тем более пантеизма, из которого тот исторически произрастает. Может быть без панентеизма, но в том числе и при сохранении теистского мировоззрения. Однако при таком теизме синергия с Богом является для человека только синергией с другими людьми («где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20)), инаковость которых не заключена с непреложностью в какую-то определенность, не подчинена чему бы то ни было, в том числе смыслу, воспринимаемому как самый возвышенный. Даже одиночество – составляющая синергийного взаимодействия с другими в каждый миг неравного себе мира сего.

Диалог преследует смысл. Диалог не удовлетворяется непониманием и отвергает его. Диалог явно или подспудно борется с непониманием. Но на смену этой (еще просвещенческой, логоцентричной) претенциозности диалогизма пришел ругаемый многими традиционалистами постмодерн, для которого абсурд, бессмыслица, непонимание так же правомерны и уместны. Более того, они-то по-настоящему неистребимы, как порой по-настоящему плодотворны.

Взаимодействие человека и человека сопровождают смыслы и бессмыслица, бессмыслицы. Бегство от этой синергии в логоцентризм,

в постижение-настижение, концептуализацию, схватывание смысла, к тому же общего для всех, «объективного», т. е. иллюзорного – рудимент архаических упований на гарантию и твердыню.

Потому и оказался предпочтителен термин «синергия», а не «диалог». Предпочтителен даже для тех, кого не воодушевило наследие византийских исихастов, тем более что вполне атеистическая синергетика И. Пригожина, Г. Хакена мощнейшим образом повлияла на академическую общественность последних десятилетий XX в.

В связи с нею нельзя не вспомнить имя, казалось бы, не имеющего к ней прямого отношения М. М. Бахтина, актуальность наследия которого только возрастала к концу XX – началу XXI вв. В нем центральной идеей диалогизма выступает не прямолинейный подчиняющий «смысл», а пульсирующая «ответственность» [268], возникающая в дискретных, нелинейных, негарантированных и негарантирующих соприкосновениях человека и человека. Это спонтанная, непринуждаемая, свободная ответственность, не обреченная на результат. Человек волен ответить, волен промолчать, волен остаться в своем непонимании. Автором признано, что большинство встреч с другим человеком невозможно, «минуя речь – “вплотную”, глаза в глаза, в его совпадении с самим собой» – ибо «человек этого не любит, он сразу же в раковину, и нет его» [28, с. 73]. Невозможно «мыслить “о человеке...”»; возможно мыслить лишь *к* человеку... к другому человеку обращаясь (и к себе обращаясь). Знать человека... означает быть с ним в диалоге – то есть – “не знать” его, но – понимать и – не понимать» [28, с. 123]. В. С. Библер настаивает, что тут уместен именно термин «диалог». Но «синергия» будет точнее!

Человек с рождения, с зачатия и даже до него «вброшен» в это «понимание – непонимание», в эту синергию с другим человеком, с другими, со всем миром до всякого дифференцированного сознания «я» и «другого человека», до всякой концептуализации происходящего. Тем более что и сам «человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить форму тождества $A = A...$ Подлинная жизнь личности совершается в точке этого несовпадения с самими собой» [20], которая и есть точка волеизъявления, самотрансцендирования

человека. А «опыт трансцендирования доступен в посюстороннем только как встреча с границей» [27, с. 143] – самого себя, другого. Как опыт вступления в растождественность, в которой мы не можем предъявлять претензии друг другу, в том числе претензии на понимание нас, даже на внимание к нам. Мы можем лишь в высшей степени осторожно прикоснуться к другому – не услышит ли? «Связь между индивидами осуществляется в форме несвязности, поскольку каждый из них отделен от другого границей, более того, он сам и есть эта граница. Следовательно, связь между людьми осуществляется на границе» [92, с. 122] уникальных, суверенных индивидов без намеренного вторжения в их интимное.

Этим путем можно продолжить дело Ф. Е. Василюка. И терапевтическое, и педагогическое воздействие намного эффективнее, когда оно не прямое, а резонансное, т. е. возникшее в результате осторожного прикосновения, направленное не прямо на взрослого ли, ребенка ли, а мягко вовлекающее их в некую взаимную интенцию, синергию.

Синергийная нелинейность всех человеческих взаимоотношений свидетельствует не о том, что «человечество состоит не из отдельных индивидов, а из их общения между собой»; не о том, что «сами по себе мы сводимся к постоянному общению» [16, с. 337]. Навязывание общения, равно как и навязывание одиночества – прямое и грубое вторжение в суверенность человека. Мы можем лишь легко коснуться другого, прислушиваясь к ответу, которого может и не быть.

Конечно, «ни одиночка как таковой, ни совокупность как таковая не являются фундаментальными фактами человеческой экзистенции. То и другое, рассматриваемые сами по себе, – всего лишь мощные абстракции... Фундаментальным фактом человеческой экзистенции является “человек с человеком”» [35, с. 230]. Однако фундаментальность не означает гладкую непрерывность – равную себе везде и всюду сплошность. Данную сферу М. Бубер называет сферой «МЕЖДУ» (das Zwischen).

Реализуя себя в весьма различной степени, эта искомая величина не является первичной категорией человеческой действительности. Особенное видение мира, на котором основано понятие МЕЖДУ, об-

ретаются там, где отношения между человеческими личностями локализованы не во внутренней жизни индивидов (как это обычно бывает) и не в объемлющем и определяющем их мире всеобщего, а, по сути дела, МЕЖДУ ними.

«МЕЖДУ – не вспомогательная конструкция, но истинное место и носитель межчеловеческого события. Ему не уделяли специального внимания, потому что, в отличие от индивидуальной души и окружающего мира, оно не являет собой гладкую непрерывность, а всякий раз складывается заново – в зависимости от масштаба человеческой встречи. Естественно, что на его долю выпало присоединение к прерывающимся элементам – душе и миру.

Настоящий диалог – не обусловленный заранее во всех своих частях, но вполне спонтанный, где каждый обращается непосредственно к своему партнеру и вызывает его на непредсказуемый ответ. Настоящий урок – не автоматически повторяемый и не тот, результаты которого наперед известны преподавателю, но сулящий обоюдные сюрпризы. Настоящее, а не обротившееся в привычку объятие. Настоящий, а не игрушечный поединок. Вот примеры истинного МЕЖДУ, суть которого реализуется не в том или другом участнике и не в том реальном мире, где те пребывают наряду с вещами, но в самом буквальном смысле – МЕЖДУ ними как в некоем доступном им измерении... там, где заканчивается душа, но еще не начался мир, получается остаток, а в нем-то и заключена самая суть. Поостережемся видеть в этом скоротечном, хотя и предельно насыщенном эпизоде игру эмоций; то, что произошло, не может быть выражено в психологических понятиях, здесь – нечто онтическое... – диалогическая ситуация получает адекватное истолкование лишь в понятиях онтологии. Но это объяснение должно исходить не из онтического характера личной экзистенции (или двух личных экзистенций), а из трансцендентного им сущего между ними... – не индивидуальное и не социальное, а нечто Третье. По ту сторону субъективного, по эту сторону объективного, на узкой кромке, где встречаются Я и Ты, лежит область МЕЖДУ» [35, с. 230–232].

Когда учитель подходит к ученику (ученикам), а между ними ничего не происходит, не возникает, не присутствует это Третье, урок

напрасен. Когда ребенок приходит в мир, а между ним и встретившими его взрослыми нет Третьего, как, например, в случаях, когда роженица не желает становиться матерью, человеческое детство не начинается. Без этого Третьего человек остается вещью. Учителя в какой-то мере можно заменить компьютером. Но мать должна быть человеком, а не родившей вещью-только-организмом.

«В той мере, в какой субъект превращается просто в вещь (“овеществление”) и таким образом сам обращается в объект (“объективация”), – в той самой мере его собственные подлинные объекты должны исчезнуть, так что его качество субъекта совершенно теряется» [223, с. 331]. И если для матери-отказницы потеря субъектности, человечности – процесс отката от человека, то для ребенка, не обретшего даже суррогатной матери, это сразу же результат – необретение, отсутствие субъектности. Такому ребенку не дали стать человеком. И чем дольше дитя живет вне этого Третьего, тем меньше вероятность, что оно к нему заглянет. Но все же вероятность всегда есть, потому что это дитя человеческое, пусть не по-человечески зачатое и не по-человечески встреченное этим миром.

Человеческое становление происходит как ответ, как отклик этому Третьему. «Первейшее из первых условий жизни человека – это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. “Сердце” человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям» [191, с. 262]. Человеческое случается между людьми, только если присутствует это МЕЖДУ, без которого мир остается безликой данностью.

Возможность дистанцироваться от нее и вырваться из нее предоставляет сама природа. Так, кроме физиологических отправлений, дитя играет. Через великий дар игры человек, начиная с самого детства, вступает в мир культуры, которая вся есть запечатленный ответ на ее ценности, в том числе фундаментальные ценности и содержащиеся в них максимы и призывы. Эти максимы и призывы – побуждения и провокации, обращенные к миру и человеку. Через них культура сама выходит навстречу миру и человеку. «Человеческая культура выступает изначально отнюдь не как отражение объективной реальности.

Скорее, она может быть рассмотрена в качестве, так сказать, «встречного мира» [130, с. 145]. Ответы на эти максимы и призывы не могут быть прямыми и непрерывными, поскольку культура тоже взывает не прямо, не от себя самой, но через свои всегда дискретные и дискретно взаимодействующие носители (люди, действия, предметы). Так что единственное условие вхождения ребенка в культуру – дарованная природой и проявляющаяся в игре ответственность, ответственность. Именно здесь точка дальнейшего роста психологической теории переживания.

Игра при всей своей опоре на спонтанность все же не есть безбрежное и непрерывное все, что угодно. Она требует дисциплины и соблюдения правил, защищающих ее локализованное присутствие среди реальности. Но, в отличие от правил последней, их можно (т. е. по своей воле) не принимать (быть в своем праве) и заняться другой игрой или не играть вовсе. В то же время нельзя рассматривать игру как абсолютно отключенное от реальности занятие. Тут чрезвычайно значимо подмеченное М. Бубером обстоятельство: «Каждое Ты должно становиться в нашем мире оно» [35, с. 24]. В игре МЕЖДУ как бы остывает, эмануруя, распадаясь на внутренний и внешний миры, и «то, что будет играть роль привычного объекта в окружении человека ставшего, необходимо еще терпеливо и в напряженном делании стяжать тому, кто пребывает в процессе становления» [35, с. 30].

И все же назначение игры не в том, чтобы остыть в работу, не только и не столько приготовление к работе. Это когда «нечто невидимое и невыразимое принимает прекрасную, существенную, священную форму... с завершением игры действие его не прекращается, а излучает свое сияние на обычный мир вовне» [229, с. 25]. Работа же есть подчиненная цели деятельность, отсекающая все, что ей не подчиняется. В результате «каждый из нас облачен панцирем, задача которого отторгать знаки. Знаки направлены на нас непрерывно, жить – значит быть тем, к кому обращаются, надо лишь принять, лишь услышать это обращение. Но риск представляется нам слишком большим..., и мы от поколения к поколению совершенствуем наш защитный аппарат» [35, с. 101].

К. Роджерс считает этот защитный аппарат, эту глухоту симптомом болезни человеческого духа. В труде ничто, кроме относящегося к его цели, не имеет значения, не является знаком, труд может оглушать. Между тем «с нами говорят знаками происходящей жизни» [35, с. 105]. Поэтому дети как бы инстинктивно уклоняются от труда, подчиняющего жизнь невесть откуда взявшейся цели, подменяющего жизнь. Дети бегут от всякого ее подчинения не ей самой, так что даже их игры долгое время насквозь подражательны [81, с. 99], взяты из жизни, а потому часто «трудообразны» на радость тем, кто видит в них подкрепление своей веры в превращение обезьяны в человека непременно благодаря труду.

Через подражание субъект подключается к чему-то большему, чем есть он сам, трансцендирует. Это большее может быть гораздо большим труда и его цели, потому и нельзя согласиться, что «игра есть дитя труда» [181, с. 338]. В стремлении доказать, что труд создал человека, иные авторы готовы даже игрушки видеть производными от «взрослых» орудий труда [244, с. 34], хотя ребенок решительно все стремится иметь в качестве игрушки – без всякой подгонки. Если можно смотреть на игру как на квазидеятельность, то еще плодотворнее рассматривать деятельность как вырожденную, принужденную игру, квазиигру. Чем меньше в деятельности вынужденности и больше игрового качества, тем сильнее она захватывает человека, тем чаще приносит радость.

В отечественной, особенно психологической и педагогической литературе как штамп повторяются термины «игровая деятельность», «деятельность общения». Этим искусственным конструкциям подчиняются целые периоды становления человека: детство, отрочество. Повсеместная захваченность теорией деятельности, принуждение к усвоению психологии исключительно в этой «единственно верной» версии до сих пор выталкивают на периферию внимания получающих образование иные, более плодотворные версии, согласно которым игра и общение гораздо фундаментальнее деятельности, а не наоборот. Ф. Е. Василюку удалось показать, что и переживание фундаментальнее деятельности.

Примечательно и то, что «понятие “игра” как таковое более высокого порядка, нежели “серьезное”. Ибо “серьезное” стремится исключить “игру”, “игра” же вполне способна включить в себя “серьезное”» [229, с. 60]. Кроме того «детская игра обладает качеством игры *qua talis* (как таковой) и в самом чистом виде» [229, с. 29]. «Игра» по-гречески звучит «агон», «исходное значение слова ἄγων (агон) была, по-видимому, “встреча”» [230, с. 64]. Игра имеет самое непосредственное отношение к общению – встрече. В ней человек не просто сталкивается с вещью в некотором лишь механическом горизонте. Наоборот, вещь захватывает его своею избыточностью как вестью, на которую он может ответить, но которой может и не отвечать, оставаясь в том и в другом случае в своем праве. Эта встреча, эта синергия не несет собой принуждения.

Таким образом, «всякая действительная жизнь есть встреча» [35, с. 21]. Для ребенка обычнее и естественнее всего это встреча с матерью, с родителями, с родными.

По сути и «учитель – организатор “встреч”, но сама “встреча” есть общение вне стереотипов. Отсюда следует, что педагог не имеет права вести себя стереотипно, так как в противном случае он заставляет и своих учеников жить, чувствовать и действовать в стереотипе» [21, с. 304]. Однако страшен не сам стереотип – этот естественный носитель культуры. Страшна натужная неуверенность, страх не соответствовать стереотипу, боязнь сделать неправильно. Тогда вместо естественной синергии – прерывной и небесконфликтной – имеет место навязчивое подстраивание жизни ребенка ли, взрослого ли под некую искусственную «правильность», часто освященную архаичной моральностью. Но встреча не может быть состоятельной, если она навязана.

Навязана она может быть как словами, так и молчанием. Допустим, я слышу голос, а «под воздействием обращенного ко мне голоса я нахожусь в состоянии податливости, оказываюсь таким, каким не был перед тем» [190, с. 91], – происходит усугубление взвешенности, онтологической неукорененности человека. Потому слушанию предшествует ожидание. А ожиданию предшествует вопрошание, которое поддается проговариванию. Проговариванию поддается и ответ на

услышанное (а в последнем всегда есть или вопрос, или призыв). Значит, внутри речи (вопрос – ответ) как необходимое дополнение говорению содержится молчание (ожидание – слушание). Но нетрудно до всякого вопрошания опять же обнаружить вслушивание, т. е. молчание. Нетрудно заметить необходимость паузы – молчания после сказанного, после ответа. Молчание не только внутри речи; сама речь возможна, только будучи погруженной в молчание.

Пауза после речи – это выход на границу нового смысла или уточнения прежнего, влекущих к дальнейшему трансцендированию. Поэтому таким искусственным и бессмысленным кажется повтор. Вот почему «дети обычно молчат, когда их спрашивают именно о хорошо известном. Этим они сбивают с толку самоуверенных взрослых. С очень раннего возраста дети идут на риск показаться глупыми, лишь бы не поступиться правом выбора между молчанием и речью. Трагедия нынешней школы в том, что у ребенка там отнимают право на молчание. Хотят включить его описательную речь, как включают прибор» [27, с. 25].

Описательная речь – речь мира, выпавшего из изначального МЕЖДУ. «Когда у ребенка отнимают право на молчание и требуют доносить на себя и мир, вымогаемая информация произносится обычно робким, бесцветным тоном. Такой тон резко выделяется на фоне характерного распева детской речи. До того дети участвовали в мире всем своим словесным существом. Все для них происходило не в них и не вне их, а разыгрывалось на просторе близкого мира» [27, с. 33]. «Не в них и не вне их», т. е. «там, где кончается душа, но еще не начинается мир», где «разыгрывается...» ненавязанная игра.

Отталкиваясь от идей Л. С. Выготского, некоторые отечественные психологи развивают взгляд на фундаментальное значение в развитии ребенка речи и молчания, в которое она погружена [82; 244], и той паузы, что разбивает практическую деятельность, привнося в нее или возвращая ее в пространство игры, характеризующейся спонтанностью, импульсивностью, импровизацией.

«Становление предметного действия не есть прямое уподобление движений свойствам предмета и не есть прямое уподобление движений по образцу. Где-то в “промежутке” МЕЖДУ этими двумя край-

ностями происходит построение ребенком образа действия... Всякое предметно-орудийное действие (как и вообще всякое опосредствование) есть одновременно и произвольное не-действие. Более того, в этом произвольном не-действовании существо и смысл предметного действия. Образец, задаваемый взрослым, не продолжает спонтанное и импульсивное поведение ребенка, не является включенным в него и не включает его в себя. Наоборот, образец действия, а следовательно, и действие взрослого телом ребенка противопоставлены спонтанному и импульсивному детскому поведению, задача... выстроить такую взаимность, в которой ребенок, содействуя взрослому, противодействовал бы самому себе... Нельзя строить образ совокупного действия, центрируясь лишь на поведении ребенка и как бы вынося за скобки действия взрослого... Действие никогда не выполняется до конца, в нем всегда оставляется *промежуток*, место для содействия ребенка... Это действие парадоксально – оно есть построение *промежутка, построение “пустоты” как пространства (места) возможностей другого действия*» [245, с. 60].

Значение паузы колоссально не только на сцене, не только в речи, но и в предметной деятельности. В этой паузе – не пустота, здесь та граница, через которую происходит трансцендирование, и в которой происходит игра с трансцендентным.

В таких паузах осуществляется и игра-овладение ребенком словаря. «Он не может просто усвоить семантику взрослых слов, поскольку в самом предмете (равно как и в самих словах) эта семантика не дана. Все, что он может, это сконструировать свою семантику того или иного слова и затем примерить ее к различным контекстам взрослой речи» [130, с. 148].

В таких паузах осуществляется и игра-овладение понятиями. «Прежде чем приступить к деятельности по освоению понятий взрослого мира, ребенок на свой страх и риск эти понятия изобретает» [130, с. 124].

В таких паузах осуществляется и познание, которое – тоже игра, импровизация, спонтанность. «Каждый ребенок – просто чтобы суметь хоть как-то сориентироваться в этом мире – оказывается вынужден сочинить некую условную систему координат, которая бы хоть

как-то санкционировала право столь странного, столь размытого и неустойчивого мира на существование» [130, с. 136].

Только в спонтанной, непредсказуемой и неподавленной целью, суверенной по отношению к цели свободной игре происходит трансцендирование, сохраняется открытость, слышны вопросы и ответы. Трансцендентное не выразить до конца. Оно само прорывается в слова и другие знаки культуры, оставляя в них свои следы. Нужно быть лишь открытым ему.

Дитя изначально открыто ему, только если стараниями взрослых, их навязчивостью эта детская открытость не схлопнется. Когда же ее пытаются «выдавить» из ребячьего самоощущения, ничего не получается. Ребенок природней, естественней, ответней (ответственной), а потому и откровенней. Так, невозможен порыв ответа на банальное, на то, что уже исчерпало свои возможности призывать к ответу – и ребенок молчит (или бездействует). От ребенка требуют выражения невыразимого – и он опять молчит, как будто знает, что «если только не пытаться сказать то, что невысказываемо, тогда ничего не будет потеряно. Но невысказанное будет – невысказанно – содержаться в том, что было сказано» [138, с. 191].

Речь, не вырастающая из молчания, есть вещь в мире вещей – механические колебания воздуха («медь звенящая, кимвал бряцающий»), проектирующие известное и неинтересное. Между тем «главный методологический принцип гуманитарной работы с человеком – запрет на проектирование результата. Иначе его можно назвать антидеятельностным или антипроектировочным принципом» [57, с. 25].

Таков вектор современной постклассической психологии, в которую внес заметный вклад и Ф. Е. Василюк. Постклассическая психология признает трансцендентное и требует адекватного ему мышления и приемов работы с человеком [34]. Для этого нужно быть-с-человеком, со-работать, со-творять с ним, со-переживать – не столько ему, сколько с ним. Быть «“вместе” означает не быть собой, не иметь никакой сущности ни в себе, ни в другом, значит со-держатъ собственную индивидуальность как инаковость, причем таким образом, что никакой субъект, никакая субстанция не могут представлять эту ина-

ковость в себе или как таковую, или как собственную самость другого, или как Другого вообще. Инаковость собственного существования имеется только как совместность... Инаковость означает инаковость каждой индивидуальности, которая индивидуальна только как дуальность. Индивидуальность, таким образом, является дуальностью индивида. Последняя не покрывается налично присваиваемыми определениями. Более того, индиви(д)дуальность преодолевает проект определенности как таковой... Следовательно, мы являем собой не бытие, а со-бытие. Это со-бытие как инаковость индивидуального существования дается нам как “мы”. Мы не есть. Мы со-бытие» [92, с. 124–125]. Мы продолжаемся друг в друге, друг через друга, когда есть то, что МЕЖДУ нами.

Другие, общение, синергия с которыми, молчание среди которых, непонимание которых – в чем-то похожих, в чем-то несоизмеримых друг с другом... Это источник не столько замороженных на складе достижений человечества истин, сколько живых, подвижных, открытых фактов, смыслов, концептов – зовущих, беспокоящих, небесспорных, неподдающихся...

Жизнь – пространство встреч человека и человека, человека и мира, человека и произведения, вернуть которым человека, оказавшегося в критической ситуации – ориентир психологии переживания. Сопереживающий психолог включен в «великий процесс, который представлен... полярностью откровенности и притворства, который можно, пожалуй, назвать нашей ответственностью (answerableness). Это непрекращающийся поток ответов, которые человек держит перед лицом своего мира, под взглядом своего Бога и на слуху своего рода» [190].

«Человечество, мир, Бог. Каждое существо человеческого рода в каждый момент своей жизни обязательно обращается – мыслью, речью или книгой – к кому-то из них... Это извечная *apologia pro vita sua*, в которой нация, великий поэт или просто чья-то отягощенная совесть объясняют Женеве, или потомкам, или Богу, кем они вынуждены стать в действительности» [190].

«Мы намеренно говорим “вынуждены стать”, потому что так называемая деятельность человека сильно преувеличена теми, кто забывает

о его ответственности. Деятельность человека в основном ограничивается выбором между откровенностью и скрытностью в отношении того, что с ним на самом деле происходит... Иными словами, реальная деятельность человека заключается либо в мифотворчестве, либо в раскрытии истины... В остальном мы – часть природы» [190, с. 79]. В каждый момент времени жизнь человека определяется либо его решением подчиниться своему страху и скрыть истину, либо мужеством и решимостью признать действительное положение дел, сказать правду себе самому и другим. «Это не разум эпохи Просвещения с его абстрактным (трансцендентальным) субъектом познания и действия, а разум, имеющий характер интерактивного, или коммуникативного, действия, именно в этом направлении ведутся наиболее интересные и плодотворные... поиски как за рубежом, так и у нас в стране» [150].

Многоголосие соперяживающих, сомневающих, сотрудничающих исследователей, не всегда обнаруживающее себя в фактах, концептах, теориях, пребывающее за их пределами – живая ткань науки, наиболее хрупкая, ранимая, но и самая плодотворная. Ее тоже нужно брать во внимание, чтобы относиться в научных коммуникациях к ней уважительно, бережно, ценя все, что возникает и существует МЕЖДУ фактами и концептами, интерпретаторами и критиками, учителями и учениками. Наука сотворяется людьми. И сколько бы они ни демонстрировали свою способность к трансцендированию, самоотречению, следуя принципу объективности, они остаются академическим сообществом субъектов, «человеков», МЕЖДУ которыми только и живет наука.

Заключение

В предложенном читателю тексте была рассмотрена традиционная гносеологическая проблема связи и взаимодействия фактов и концептуального уровня научного знания и познания, прежде всего, на примере недавнего краткого эпизода развития психологической науки.

Руководствуясь поначалу бифундаменталистским методологическим подходом, включающим в себя генетический метод изучения и интерпретативный принцип взаимодействия эмпирического и теоретического, была показана неудовлетворительность не только моно-, но и всякого другого фундаменталистского рассмотрения процессов научного познания, включая би- и полифундаментализм. Предложена их антифундаменталистская трактовка, признающая в качестве начала научного исследования переживание ученым неудовлетворенности существующими версиями осмысления фактов и поиск приемлемых концептов, продолжающийся последующими их конкретизациями и построением теоретических моделей. Вплоть до моделей *ad hoc*, которые оказываются теоретическими моделями эмпирически фиксируемого, т. е. тех же фактов, что снимают саму возможность предполагать наличие какого бы то ни было исключительного фундамента научного знания.

Таким образом, факт как *ad hoc* теоретическая модель, включенная в недедуктивную систему теоретических моделей научной теории, является не только источником, но и результатом ее генезиса, получающим с ее стороны объяснение, удовлетворяющее некоторую часть академического сообщества. Важнейшую конструктивную роль при этом играет идея, вдохновляющая теоретика и движущая его поиск.

В свете данного методологического подхода рассмотрена работа Ф. Е. Василюка по построению психологической теории переживания, свой вклад в которую внес и Н. И. Сарджвеладзе. Единая фактическая база, с которой не справлялась и которую чаще игнорировала теория деятельности, выступила источником нового концептуального подхода, трансформированного особой, хотя и весьма древней конструктивной и эвристичной виталистической идеей (самоценности и само-

достаточности жизни). Вопрос о возникновении такой идеи, о причинах вдохновения ею исследователя – вопрос о тайне творчества. Данные о творческой биографии Ф. Е. Василюка позволили дать их интерпретацию в тексте.

Идея, к которой обращается теоретик, транслируется в его творчество из культуры в широком смысле слова и не испытывает непосредственного влияния со стороны фактов. Новый концепт в процессах абстрагирования и идеализации превращается в абстрактный элементарный объект, содержащий в себе потенциал дальнейшей конкретизации возникшей таким образом концепции в направлении и во взаимодействии с эмпирической информацией.

Особый акцент сделан на колоссальной роли в научном поиске и теоретическом творчестве в целом мировоззренческого (предпосылочного, архетипического) его уровня, в котором индивидуальное сопряжено с общекультурным, социально обусловленное – с интимным, мгновенным, легко утрачиваемым.

Подчеркнуто значение атмосферы академической свободы, в которой только и возможна устойчивая научная жизнь, нуждающаяся в институциональной автономии, переживающей в настоящее время рискованную для будущности науки эрозию. Только академические свободы позволяют звучать многоголосию тех, МЕЖДУ чьими человеческими – «слишком человеческими» (Ф. Ницше) – судьбами существует и продолжается наука.

Именно этот, как представляется, принципиально важный нюанс не был акцентирован, а чаще просто игнорировался отечественной гносеологией второй половины XX в. Ее достижениям в предложенном тексте отдана дань заслуженного уважения, однако признана и обоснованность дальнейшей актуализации полученных результатов в сегодняшней методологической рефлексии развития науки.

Библиографический список

1. *Абрамова Н. Т.* Авербальное мышление: возможности и границы / Н. Т. Абрамова // Смирновские чтения: материалы Международной научной конференции, 18–20 мая 1999 г., Москва: Изд-во Ин-та философии РАН, 1999.
2. *Абрамова Н. Т.* Границы фундаменталистского идеала и новый образ науки / Н. Т. Абрамова // Философские науки. 1989. № 11. С. 39–50.
3. *Агамбен Дж.* Грядущее сообщество / Дж. Агамбен. Москва: Три квадрата, 2008. 144 с.
4. *Агамбен Дж.* Искусство, без-деятельность, политика / Дж. Агамбен // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 41–46.
5. *Активность субъекта в развитии знания: сборник научных трудов* / отв. ред. В. К. Нишанов [и др.]. Фрунзе: Изд-во Киргиз. гос. ун-та, 1988. 111 с.
6. *Андреев И. Д.* Теория как форма организации научного знания / И. Д. Андреев. Москва: Наука, 1979. 303 с.
7. *Андрюхина Л. М.* Стиль науки: культурно-историческая природа / Л. М. Андрюхина. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1992. 152 с.
8. *Анкин Д. В.* Теория познания: учебное пособие / Д. В. Анкин. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2019. 192 с.
9. *Арсеньев А. С.* Анализ развивающегося понятия / А. С. Арсеньев, В. С. Библер, Б. М. Кедров. Москва: Наука, 1967. 439 с.
10. *Асмолов А. Г.* На перекрестке путей к изучению психики человека: бессознательное, установка, деятельность / А. Г. Асмолов // Бессознательное: природа, функции, методы исследования: в 4 томах / под общ. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилиси: Мецниереба, 1982–1985. Т. 4. С. 77–92.
11. *Бабушкин В. У.* Феноменологическая философия науки: Критический анализ / В. У. Бабушкин. Москва: Наука, 1985. 189 с.
12. *Бажанов В. А.* Рецензия на книгу «Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд» / В. А. Бажанов // Вопросы философии. 2015. № 4. С. 212–214.

13. *Баженов Л. Б.* Строение и функции естественнонаучной теории / Л. Б. Баженов. Москва: Наука, 1978. 231 с.
14. *Баженов Л. Б.* Теория и опыт в научном познании / Л. Б. Баженов // Теоретическое и эмпирическое в современном научном познании / редкол. Н. П. Депенчук [и др.]. Москва: Наука, 1984. С. 6–17.
15. *Баркер Р.* Фрустрация. Конфликт. Защита / Р. Баркер // Вопросы психологии. 1991. № 6. С. 34–38.
16. *Батай Ж.* Литература и зло / Ж. Батай. Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. 168 с.
17. *Батищев Г. С.* Деятельность и ценности: Критика «деятельностного» подхода и теории интериоризации / Г. С. Батищев // Вопросы философии. 1985. № 2. С. 41–44.
18. *Батищев Г. С.* Философская концепция человека и креативности в наследии С. Л. Рубинштейна / Г. С. Батищев // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 96–109.
19. *Батищев Г. С.* Философско-аксиологические идеи в концепции человека С. Л. Рубинштейна / Г. С. Батищев // Философские науки. 1989. № 7. С. 26–36.
20. *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. Москва: Художественная литература, 1972. 470 с.
21. *Белухин Д. А.* Основы личностно ориентированной педагогики: курс лекций / Д. А. Белухин. Москва: Изд-во Ин-та практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. Ч. 1. 318 с.
22. *Беляева Л. А.* Игра как способ конструирования личностной идентичности / Л. А. Беляева, О. Н. Новикова // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии образования. 2012. № 5 (94). С. 73–82.
23. *Беляева Л. А.* Проблема понимания в педагогической деятельности: учебное пособие к спецкурсу / Л. А. Беляева. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1995. 74 с.
24. *Беляева Л. А.* Разработка педагогической герменевтики как теории и практики понимающей педагогики / Л. А. Беляева // Педагогическое образование. 2008. № 33. С. 4–11.
25. *Бергсон А.* Творческая эволюция / А. Бергсон. Москва: ТЕРРА-Книжный клуб: КАНОН-пресс-Ц, 2001. 384 с.

26. *Берман Г. Дж.* Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Берман. Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та: Инфра-М – НОРМА, 1998. 624 с.
27. *Бибихин В. В.* Язык философии / В. В. Бибихин. Москва: Прогресс, 1993. 403 с.
28. *Библер В. С.* М. М. Бахтин, или Поэтика культуры / В. С. Библер. Москва: Прогресс; Гнозис, 1991. 169 с.
29. *Библер В. С.* Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога) / В. С. Библер. Москва: Политиздат, 1975. 399 с.
30. *Бикбов А. Т.* Судьба университета / А. Т. Бикбов // *Культиватор*. 2011. № 3. С. 5–19.
31. *Блажевич Т. А.* Репродуктивный и продуктивный аспекты в становлении научного знания: диссертация ... кандидата философских наук / Т. А. Блажевич. Свердловск, 1979. 175 с.
32. *Бодрийяр Ж.* Система вещей / Ж. Бодрийяр. Москва: Рудомино, 2001. 224 с.
33. *Братко А. А.* Моделирование психики / А. А. Братко. Москва: Наука, 1969. 174 с.
34. *Братусь Б. С.* Опыт обоснования гуманитарной психологии / Б. С. Братусь // *Вопросы психологии*. 1990. № 6. С. 9–16.
35. *Бубер М.* Два образа веры / М. Бубер. Москва: Республика, 1995. 464 с.
36. *Бунге М.* Философия физики / М. Бунге. Москва: Прогресс, 1975. 347 с.
37. *Бунин И. А.* Жизнь Арсеньева. Роман и рассказы / И. А. Бунин. Москва: Советская Россия, 1982. 333 с.
38. *Валиева Р. Р.* Исследование социальной фрустрированности студентов / Р. Р. Валиева, Г. М. Лыдокова // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2012. № 1. С. 143.
39. *Ван Хао.* Аксиоматические системы теории множеств / Ван Хао, Р. Мак-Нотон. Москва: Иностранная литература, 1963. 53 с.
40. *Вартофский М.* Модели. Репрезентация и научное понимание / М. Вартофский. Москва: Прогресс, 1988. 506 с.

41. *Василюк Ф. Е.* Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций / Ф. Е. Василюк // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 3. С. 90–101.
42. *Василюк Ф. Е.* К проблеме единства общепсихологической теории / Ф. Е. Василюк // Вопросы философии. 1986. № 10. С. 76–86.
43. *Василюк Ф. Е.* Методологический анализ в психологии / Ф. Е. Василюк. Москва: Изд-во Моск. гос. психол.-пед. ун-та: Смысл, 2003. 240 с.
44. *Василюк Ф. Е.* Методологический смысл психологического схи-зиса / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. 1995. № 6. С. 25–40.
45. *Василюк Ф. Е.* От психологической практики к психотехнической теории / Ф. Е. Василюк // Консультативная психология и психотерапия. 1992. № 1. С. 15–32.
46. *Василюк Ф. Е.* Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 200 с.
47. *Василюк Ф. Е.* Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания / Ф. Е. Василюк // Консультативная психология и психотерапия. 1996. № 4. С. 48–68.
48. *Василюк Ф. Е.* Типология переживания различных критических ситуаций / Ф. Е. Василюк // Психологический журнал. 1995. № 1. С. 104–114.
49. *Вахштайн В. С.* Метафорика университета [Электронный ресурс] / В. С. Вахштайн. Режим доступа: <https://postnauka.ru/longreads/13096>.
50. *Вахштайн В. С.* Метафоры и метаморфозы университета / В. С. Вахштайн // Культиватор. 2011. № 3. С. 20–30.
51. *Витгенштейн Л.* О достоверности / Л. Витгенштейн // Вопросы философии. 1984. № 8. С. 142–149.
52. *Вишневский Ю. Р.* Актуальные теоретико-методологические проблемы социальной инерции / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко // Вестник УГТУ – УПИ. 2003. № 4 (24). С. 21–32.
53. *Вишневский Ю. Р.* Инерционность социокультурных процессов / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко // Ученые записки НТГСПА. Общественные науки. Нижний Тагил: Изд-во Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., 2003. С. 31–42.

54. *Вознесенский А. А.* «О» / А. А. Вознесенский // Новый мир. 1982. № 11. С. 111–134.
55. *Войшвилло Е. К.* Понятие / Е. К. Войшвилло. Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1967. 286 с.
56. *Войшвилло Е. К.* Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / Е. К. Войшвилло. Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1989. 239 с.
57. *Воробьева П. И.* Гуманитарная психология: предмет и задачи / П. И. Воробьева // Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 19–31.
58. *Высоцкий Ю. В.* Концепции современного естествознания: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. В. Высоцкий, В. Е. Быданов. Режим доступа: http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_7/5/5_R1_T1.html.
59. *Вяльцев А. Н.* Противоречия в развитии естествознания / А. Н. Вяльцев, Б. М. Кедров. Москва: Наука, 1965. 352 с.
60. *Гальперин П. Я.* Введение в психологию: учебное пособие для вузов / П. Я. Гальперин. Москва: Университет, 1976. 248 с.
61. *Гегель Г. В. Ф.* Наука логики: в 3 томах / Г. В. Ф. Гегель. Москва: Мысль, 1972. Т. 3. 374 с.
62. *Гегель Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук: в 3 томах / Г. В. Ф. Гегель. Москва: Мысль, 1974. Т. 1. 452 с.
63. *Гершович У.* Еврейское образование в древности [Электронный ресурс] / У. Гершович. Режим доступа: <http://havura.info/number/10>.
64. *Гершович У.* Еврейское образование в Средневековье [Электронный ресурс] / У. Гершович. Режим доступа: <http://havura.info/number/11>.
65. *Гильберт Д.* Основания математики: в 2 томах / Д. Гильберт, П. Бернайс. Москва: Наука, 1982. Т. 2. 656 с.
66. *Гительсон В. М.* Возникновение и становление идеализации как метода научного познания / В. М. Гительсон // Ученые записки. 1968. № 70. С. 71–86.
67. *Глаголева Е. В.* Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения / Е. В. Глаголева. Москва: Молодая гвардия, 2014. 320 с.
68. *Город* в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 томах / сост. и отв. ред. А. А. Сванидзе. Москва: Наука, 1999. Т. 2: Жизнь города и деятельность горожан. 339 с.

69. *Горский Д. П.* О соотношении точного и неточного в точных науках / Д. П. Горский // *Логика и методология науки: материалы 4-го Всесоюзного симпозиума* / отв. ред. М. Э. Омеляновский. Москва: Наука, 1967. С. 101–106.

70. *Готт В. С.* Диалектика развития понятийной формы мышления (Анализ становления различных понятийных форм) / В. С. Готт, Ф. М. Землянский. Москва: Высшая школа, 1981. 319 с.

71. *Грязнов Б. С.* Логика. Рациональность. Творчество / Б. С. Грязнов. Москва: Наука, 1982. 256 с.

72. *Грязнов Б. С.* Теория и ее объект / Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. Москва: Наука, 1973. 246 с.

73. *Гусев С. С.* Наука и метафора / С. С. Гусев. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 152 с.

74. *Диль Ш.* История Византийской империи / Ш. Диль. Москва: Гос. изд-во иностр. лит-ры, 1948. 160 с.

75. *Донских О. А.* О вреде профессоров в истории человечества / О. А. Донских // *Идеи и идеалы*. 2010. № 4 (6). Т. 1. С. 147–158.

76. *Елсуков А. Н.* Эмпирическое познание и факты науки / А. Н. Елсуков. Минск: Вышэйшая школа, 1981. 88 с.

77. *Ермаишвили В. И.* О природе эмпирического знания / В. И. Ермаишвили // *Вопросы философии*. 1981. № 6. С. 94–103.

78. *Жариков Е. С.* Научный поиск / Е. С. Жариков. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1967. 151 с.

79. *Жуйкова Р. М.* Эмпирическое и теоретическое в социальном предвидении / Р. М. Жуйкова, Л. Л. Тузов. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1984. 88 с.

80. *Зейгарник Б. В.* Очерки по психологии аномального развития личности / Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь. Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1980. 157 с.

81. *Зеньковский В. В.* Психология детства / В. В. Зеньковский. Москва: Академия, 1996. 346 с.

82. *Зинченко В. П.* От классической к органической психологии / В. П. Зинченко // *Вопросы психологии*. 1969. № 5 С. 7–20.

83. *Илларионов С. В.* Эмпирическая проверяемость гипотез и критерии модификаций «ad hoc» / С. В. Илларионов, Е. А. Мамчур // Теоретическое и эмпирическое в современном научном познании. Москва: Наука, 1984. С. 76–98.

84. *Ильенков Э. В.* Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса / Э. В. Ильенков. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 285 с.

85. *Исламская цивилизация в глобализирующемся мире: по материалам конференции* / отв. ред. В. Г. Хорос. Москва: Изд-во ИМЭМО РАН, 2011. 336 с.

86. *Кадыров И. Х.* Проблемы всеобщей истории / И. Х. Кадыров. Казань: Изд-во Казан. пед. ин-та, 1967. Вып. 1. 301 с.

87. *Кант И.* Сочинения: в 6 томах / И. Кант. Москва: Мысль, 1964. Т. 3: Критика чистого разума. 799 с.

88. *Карабыков А. В.* Сбои в машине мира? Проблема «гибридных» монстров в научно-философских дискуссиях эпохи механицизма / А. В. Карабыков // Вопросы философии. 2019. № 3. С. 159–171.

89. *Кармин А. С.* Познание бесконечного / А. С. Кармин. Москва: Мысль, 1981. 232 с.

90. *Кассирер Э.* Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Октябрь. 1993. № 7. С. 153–164.

91. *Керимов Т. Х.* Неразрешимости / Т. Х. Керимов. Москва: Академический проект: Трикста, 2007. 218 с.

92. *Керимов Т. Х.* Социальная гетерология / Т. Х. Керимов. Екатеринбург: Урал НАУКА, 1999. 172 с.

93. *Кислов А. Г.* Генетическая связь факта и теории в научном познании: диссертация ... кандидата философских наук / А. Г. Кислов. Свердловск, 1990. 148 с.

94. *Кислов А. Г.* «Забота не о себе» классического университета / А. Г. Кислов // Вестник Томского государственного университета. Философия, социология, политология. 2018. № 42. С. 136–144.

95. *Кислов А. Г.* Идея права на достойное человеческое существование / А. Г. Кислов, Е. М. Кропанева, М. Р. Москаленко. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. 167 с.

96. *Кислов А. Г.* Идея университета: ретроспектива, версии и перспективы / А. Г. Кислов, О. В. Шмурыгина // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 8. С. 96–122.

97. *Кислов А. Г.* Инновационный университет vs университет классический / А. Г. Кислов, И. Е. Сафронович, И. В. Шапко // 21-е Уральские социологические чтения. Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого развития: материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 15–16 марта 2018 г. / под общ. ред. Ю. Р. Вишневого. Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2018. С. 109–114.

98. *Кислов А. Г.* Институционализация высшей школы: ретроспектива / А. Г. Кислов, О. В. Шмурыгина // Право и образование. 2012. № 11. С. 17–31.

99. *Кислов А. Г.* К полигенезу университета / А. Г. Кислов, И. Е. Сафронович, И. В. Шапко // Идеи и идеалы. 2018. № 2, т. 2. С. 59–83.

100. *Кислов А. Г.* Образование versus креативность: истоки демистификации / А. Г. Кислов // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 9. С. 90–105.

101. *Кислов А. Г.* О менеджменте качества высшего образования / А. Г. Кислов // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 7. С. 98–112.

102. *Кислов А. Г.* О постакадемических перспективах университетов / А. Г. Кислов // Право и образование. 2008. № 1. С. 34–46.

103. *Кислов А. Г.* Теология детерминации отсутствием / А. Г. Кислов // Лютеране в России: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири: сборник докладов Международной научной конференции. Омск, 9–10 окт. 2014 г. / гл. ред.: Л. М. Дмитриева, Н. А. Томилов. Омск: Изд-во Ом. гос. техн. ун-та, 2014. С. 62–65.

104. *Кислов А. Г.* Университет эпохи постакадемизма: «Все еще только начинается» / А. Г. Кислов // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии наук. 2007. № 3 (45). С. 111–118.

105. *Кислов А. Г.* Университет эпохи постакадемизма: «Закат?» / А. Г. Кислов // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии наук. 2007. № 2 (44). С. 107–118.

106. *Кислов А. Г.* Университет эпохи постмодерна / А. Г. Кислов // Университетское управление: практика и анализ. 2007. № 3 (49). С. 18–24.

107. *Классический университет в неклассическое время: Труды Томского государственного университета* / под ред. Г. И. Петровой, М. Н. Баландина. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2007. Т. 269. 200 с.

108. *Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / Р. Коллинз. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1280 с.

109. *Копнин В. П.* Гносеологические и логические основы науки / В. П. Копнин. Москва: Мысль, 1974. 568 с.

110. *Коппель С. Д.* Гносеологический образ как интерпозиционная модель / С. Д. Коппель // Метод моделирования и некоторые философские проблемы истории и методологии естествознания. Таллин: Изд-во АН ЭССР, 1985. С. 77–86.

111. *Корневский А. В.* Университет – изменчивое постоянство [Электронный ресурс] / А. В. Корневский, В. С. Савчук. Режим доступа: <http://newpast.sfedu.ru/archive/moi-universitety-2-2016/universitet-izmenchivoe-postoyanstvo/>.

112. *Красавин В. П.* Факты науки: единство чувственного и рационального / В. П. Красавин // Чувственное и рациональное: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1982. С. 85–91.

113. *Красильников И. А.* Преодолевающая деятельность как личностный способ психологической адаптации и разрешения внутриличностных конфликтов / И. А. Красильников // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. 2008. № 6 (10). С. 231–232.

114. *Кречмер Э.* Об истерии / Э. Кречмер. Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1928. 159 с.

115. *Крымский С. Б.* Формы культурно-исторической опосредованности научного знания / С. Б. Крымский // Философские науки. 1989. № 7. С. 63–68.

116. *Кузнецов И. В.* Структура физической теории / И. В. Кузнецов // Вопросы философии. 1967. № 11. С. 86–98.

117. *Кузьмин В. П.* Принцип системности в теории и методологии К. Маркса / В. П. Кузьмин. Москва: Политиздат, 1986. 398 с.
118. *Кураев В. И.* Точность, истинность и рост знания / В. И. Кураев, Ф. В. Лазарев. Москва: Наука, 1988. 240 с.
119. *Лазарев Ф. В.* Диалектика точности и истинности в структуре физической теории / Ф. В. Лазарев // Вопросы философии. 1978. № 8. С. 31–42.
120. *Ле Гофф Ж.* Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. 328 с.
121. *Лебединский М. С.* Введение в медицинскую психологию / М. С. Лебединский, В. Н. Мясищев. Москва: Медицина, 1966. 430 с.
122. *Левитов Н. Д.* Фрустрация как один из видов психических состояний / Н. Д. Левитов // Вопросы психологии. 1967. № 6. С. 27–30.
123. *Легендарные университеты исламского мира.* Аль-Карауин [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tr.medinaschool.org/world/legendarnye-universitety-islamskogo-mira-al-karauin>.
124. *Лекторский В. А.* Философия России второй половины XX в. как социокультурный феномен / В. А. Лекторский // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд / под. ред. В. А. Лекторского. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2014. С. 23–41.
125. *Леонтьев А. Н.* Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. Москва: Политиздат, 1975. 304 с.
126. *Леонтьев А. Н.* Потребности, мотивы, эмоции: конспект лекций / А. Н. Леонтьев. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 40 с.
127. *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 584 с.
128. *Лифшиц М. А.* Об идеальном и реальном / М. А. Лифшиц // Вопросы философии. 1984. № 10. С. 120–145.
129. *Лифшиц М. А.* Эстетика Гегеля / М. А. Лифшиц // Эстетика Гегеля и современность / под ред. М. А. Лифшица. Москва: Изобразительное искусство, 1984. С. 22–51.
130. *Лобок А. М.* Антропология мифа / А. М. Лобок. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997. 688 с.

131. *Лойфман И. Я.* Гносеологическая структура субъективных образов объективного мира / И. Я. Лойфман // Категория образа в марксистско-ленинской гносеологии: структура и функции / отв. ред. И. Я. Лойфман. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1986. С. 3–17.

132. *Лойфман И. Я.* Отражение как высший принцип марксистско-ленинской гносеологии / И. Я. Лойфман. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1987. 111 с.

133. *Лойфман И. Я.* Принципы физики и философские категории / И. Я. Лойфман. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1973. 136 с.

134. *Лосев А. Ф.* Бытие, имя, космос / А. Ф. Лосев. Москва: Мысль, 1993. 958 с.

135. *Лотман Ю. М.* Культура и текст как генераторы смысла / Ю. М. Лотман // Кибернетическая лингвистика / отв. ред. В. В. Иванов, В. П. Григорьев. Москва: Наука, 1983. С. 23–30.

136. *Лотман Ю. М.* Мозг – текст – культура – искусственный интеллект / Ю. М. Лотман // Семиотика и информатика / отв. ред. А. И. Михайлов. Москва: Изд-во Всерос. ин-та науч. и техн. информации Рос. акад. наук, 1981. Вып. 17. С. 3–17.

137. *Лотман Ю. М.* Феномен культуры / Ю. М. Лотман // Труды по знаковым системам. Ученые записки Тартуского государственного университета / гл. ред. Ю. М. Лотман. Тарту: Изд-во Тартус. гос. ун-та, 1978. Т. 10: Семиотика культуры. С. 3–27.

138. *Людвиг Витгенштейн:* человек и мыслитель / сост. В. П. Руднев. Москва; Санкт-Петербург: Прогресс, 1993. 350 с.

139. *Майер Н.* Фрустрация: поведение без цели / Н. Майер. Москва: Мед. книга, 2005. 256 с.

140. *Малкей М.* Наука и сциология знания / М. Малкей. Москва: Прогресс, 1983. 253 с.

141. *Мамардашвили М. К.* Классический и неклассический идеалы рациональности / М. К. Мамардашвили. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 82 с.

142. *Марков Б. В.* После оргии / Б. В. Марков // Бодрийяр Ж. Америка / Ж. Бодрийяр. Санкт-Петербург: Владимир Даль. 2000. С. 5–19.

143. *Марков Б. В.* Проблема обоснования и проверяемости теоретического знания / Б. В. Марков. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 166 с.

144. *Маркс К. Ф.* К критике гегелевской философии права / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50 томах. 2-е изд. Москва: Политиздат, 1955. Т. 1. С. 414–429.

145. *Маркс К.* Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50 томах. 2-е изд. Москва: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 7–544.

146. *Маркс К.* Экономические рукописи 1857–1859 гг. / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50 томах. 2-е изд. Москва: Политиздат, 1968. Т. 46, ч. 1. С. 3–508.

147. *Мартынович С. Ф.* Факт науки и его детерминация: философско-методологический аспект / С. Ф. Мартынович. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1983. 179 с.

148. *Мартьянов В. С.* Общество без утопий / В. С. Мартьянов // Общественные науки и власть: интеллектуальные трансформации. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2008. С. 284–292.

149. *Материалистическая* диалектика как теория развития / под ред. Ф. Ф. Вяккерера, В. В. Ильина. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 183 с.

150. Межуев В. М. Если человек не нуждается в свободе, то и философия ему ни к чему... [Электронный ресурс] / В. М. Межуев. Режим доступа: https://www.novayagazeta.ru/articles/2007/10/29/31310-vadim-mezhuev-esli-chelovek-ne-nuzhdaetsya-v-svobode-to-i-filosofiya-emu-nik-chemu?fbclid=IwAR0HL-309b_rxwXuKdLe-L6cnihkSrKr8JXDToKr15wDpXeGmbIRNh0xQw.

151. *Мерзон Л. С.* Проблемы научного факта: курс лекций / Л. С. Мерзон. Ленинград: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та, 1972. 188 с.

152. *Меркулов И. П.* Генезис научных теорий как логика развития ad hoc гипотез / И. П. Меркулов // Вопросы философии. 1983. № 11. С. 39–50.

153. *Меськов В. С.* Очерки по логике квантовой механики / В. С. Меськов. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 141 с.

154. *Методология* психологии: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ф. Е. Василюк [и др.]; под ред. Т. Г. Щедриной. Москва, Санкт-Петербург: Центр гуманитар. инициатив, 2012. 528 с.

155. *Моделирование* как метод научного исследования (гносеологический анализ) / Б. А. Глинский [и др.]; под ред. Б. С. Грязнова. Минск: Изд-во Минск. ун-та, 1965. 248 с.

156. *Мозжилин С. И.* Рецензия на книгу «Методология психологии» / С. И. Мозжилин, А. Н. Неверов // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 186–189.

157. *Мясищев В. Н.* Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. Ленинград: Изд-во Лен. ун-та, 1960. 526 с.

158. *Нелинейная* модель российского высшего образования в макрорегионе: теоретическая концепция и практические возможности / Г. Е. Зборовский [и др.]; под общ. ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та, 2016. 336 с.

159. *Неуймин Я. Г.* Модели в науке и технике: история, теория, практика / Я. Г. Неуймин. Ленинград: Наука, 1984. 189 с.

160. *Никитин Е. П.* Теория и эмпирия: проблема разграничения / Е. П. Никитин // Позитивизм и наука: Критический очерк / отв. ред. Д. П. Горский, Б. С. Грязнов. Москва: Наука, 1975. С. 191–229.

161. *Никифоров А. Л.* Фальсификационизм и эпистемологический анархизм / А. Л. Никифоров // В поисках теории развития науки: очерки западноевропейских американских концепций XX века / отв. ред. С. Р. Микулинский, В. С. Черняк. Москва: Наука, 1982. С. 210–240.

162. *Николаев В. Г.* Социология занятий и профессий Эверетта Хьюза: забытый интеллектуальный ресурс / В. Г. Николаев // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / под ред. П. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. Москва: Вариант: Центр соц. политики и гендерных исслед., 2012. С. 59–74.

163. *Нугаев Р. М.* Максвелловская научная революция: интертеоретический контекст / Р. М. Нугаев. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 203 с.

164. *Нугаев Р. М.* Почему одна фундаментальная теория сменяет другую? / Р. М. Нугаев // Вопросы философии. 1987. № 6. С. 90–98.

165. *Образование 20.35. Будущее* / сост. К. А. Андреева; Агентство стратегич. инициатив. Екатеринбург: Издательские решения, 2017. Т. 6. 300 с.

166. *Образование 20.35. Человек* / сост. К. А. Андреева; Агентство стратегич. инициатив. Екатеринбург: Издательские решения, 2017. Т. 7. 152 с.

167. *Огнев Александр, иерей. Система образования в Византийской империи* [Электронный ресурс] / А. В. Огнев. Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/1453971.html#_edn14.

168. *Огурцов А. П. Феноменология* / А. П. Огурцов // *Философская энциклопедия: в 5 томах*. Москва: Советская энциклопедия, 1970. Т. 5. С. 273.

169. *Осипова А. А. К вопросу о стратегиях преодоления психологических барьеров* / А. А. Осипова, М. В. Прокопенко // *Российский психологический журнал*. 2014. № 4 (11). С. 39–54.

170. *От Авраама до современности: лекции по еврейской истории и литературе* / под ред. Д. Фишмана, Б. Высоцки. Москва: Изд-во Рос. гос. гуманитар. ун-та, 2002. 389 с.

171. *Павиленис Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка* / Р. И. Павиленис. Москва: Мысль, 1983. 286 с.

172. *Педагогическая мысль и образование на Ближнем и Среднем Востоке (VII–XVII вв.)* [Электронный ресурс] // *История зарубежной педагогики* / отв. ред А. Н. Джуринский. Режим доступа: <http://www.profile-edu.ru/vospitanie-i-shkola-na-srednevekovom-vostoke-page-1.html>.

173. *Перов Ю. В. «Русская Идея» и «либеральный проект для всего мира»* / Ю. В. Перов // *Историчность и историческая реальность*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. Вып. 2. Сер. «Мыслители». С. 105–106.

174. *Петров М. К. Язык, знак, культура* / М. К. Петров. Москва: Наука, 1991. 328 с.

175. *Петрова Г. И. Классический университет в неклассическое время* / Г. И. Петрова. Томск: Изд-во Науч.-техн. лит., 2010. 164 с.

176. *Петрова Г. И.* Философия университетского образования: модификация критериев классического университета в обществе знания: учебное пособие / Г. И. Петрова. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2013. 172 с.

177. *Пискалов П. И.* Теория как высшая форма организации знания / П. И. Пискалов // Научное знание: уровни, методы, формы / под ред. Т. К. Никольской. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1986. С. 227–240.

178. *Планк М.* Единство физической картины мира / М. Планк. Москва: Наука, 1966. 287 с.

179. *Платон.* Парменид / Платон // Собрание сочинений: в 2 томах. Москва: Мысль, 1970. Т. 2. С. 401–478.

180. *Платон.* Федон / Платон // Собрание сочинений: в 2 томах. Москва: Мысль, 1970. Т. 2. С. 11–94.

181. *Плеханов Г. В.* Письма без адреса / Г. В. Плеханов // Избранные философские произведения: в 5 томах. Москва: Изд-во соц.-экон. лит., 1958. Т. 5. С. 294–358.

182. *Поводы и намеки* / сост. О. И. Генисаретский. Москва: Путь, 1993. 131 с.

183. *Покровский Н. Е.* Корпоративный университет: утопия, антиутопия или реальность [Электронный ресурс] / Н. Е. Покровский. Режим доступа: <http://edu.futurisrael.org/RuJ/NewEd.htm>.

184. *Покровский Н. Е.* Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений / Н. Е. Покровский // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 148–154.

185. *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии / М. Полани. Москва: Прогресс, 1985. 344 с.

186. *Порус В. Н.* Философия науки как офшорная зона советской философии / В. Н. Порус // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд / под ред. В. А. Лекторского. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2014. С. 137–156.

187. *Проскурин В. А.* Заметки к автономизации университета [Электронный ресурс] / В. А. Проскурин. Режим доступа: <http://edu.futurisrael.org/ProskAutUniver.htm>.

188. *Рахматуллин Р. Ю.* Наглядные образы научной картины мира: природа и гносеологические функции: диссертация ... кандидата философских наук / Р. Ю. Рахматуллин. Свердловск, 1986. 174 с.

189. *Роговин М. С.* Метод наблюдения и деятельность наблюдателя / М. С. Роговин // Вопросы философии. 1988. № 7. С. 93–104.
190. *Розеншток-Хюсси О.* Речь и действительность / О. Розеншток-Хюсси. Москва: Лабиринт, 1994. 217 с.
191. *Рубинштейн С. Л.* Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. Москва: Изд-во АН СССР, 1957. 330 с.
192. *Рубинштейн С. Л.* Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 88–95.
193. *Руднев В. П.* Реальность как ошибка / В. П. Руднев. Москва: Гнозис, 2011. 320 с.
194. *Рузавин Г. И.* О природе математического знания (очерки по методологии математики) / Г. И. Рузавин. Москва: Мысль, 1968. 302 с.
195. *Сагатовский В. Н.* «Точность» как гносеологическое понятие / В. Н. Сагатовский // Философские науки. 1974. № 1. С. 56–61.
196. *Сапожников О. Я.* Аль-Караун: ислам и Европа [Электронный ресурс] / О. Я. Сапожников. Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/1885357.html>.
197. *Сарджвеладзе Н. И.* Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н. И. Сарджвеладзе. Тбилиси: Мецниереба, 1989. 204 с.
198. *Сахнин А. В.* Идеология как последний шанс демократии [Электронный ресурс] / А. В. Сахнин. Режим доступа: http://www.russ.ru/stat_i/ideologiya_kak_poslednij_shans_demokratii.
199. *Сачков Ю. В.* Научный метод: вопросы его структуры / Ю. В. Сачков // Вопросы философии. 1983. № 2. С. 99–111.
200. *Селье Г.* От мечты к открытию: Как стать ученым / Г. Селье. Москва: Прогресс, 1987. 368 с.
201. *Сетьков В. Ф.* Формирование абстрактного элементарного объекта научной теории: диссертация ... кандидата философских наук / В. Ф. Сетьков. Свердловск, 1975. 178 с.
202. *Скоробогачкий В. В.* Знание и власть на закате индустриальной эпохи / В. В. Скоробогачкий // Общественные науки и власть: интеллектуальные трансформации / отв. ред В. Н. Руденко. Екатеринбург: Изд-во Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2008. С. 9–36.

203. *Соколов Э. В.* Культура и личность / Э. В. Соколов. Ленинград: Наука, 1972. 228 с.
204. *Соколова Е. Т.* Проективные методы исследования личности / Е. Т. Соколова. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 176 с.
205. *Степин В. С.* Диалектика генезиса и функционирования научной теории / В. С. Степин // Вопросы философии. 1984. № 3. С. 29–38.
206. *Степин В. С.* Становление научной теории: Содержательные аспекты строения и генезиса теоретических знаний физики / В. С. Степин. Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1976. 319 с.
207. *Стоу К.* Отчужденное меньшинство. Евреи в средневековой Латинской Европе [Электронный ресурс] / К. Стоу. Режим доступа: <http://www.fedy-diary.ru/html/022013/2302013-01a.html>.
208. *Тондл Л.* Проблемы семантики / Л. Тондл. Москва: Прогресс, 1975. 484 с.
209. *Тульчинский Г. Л.* Опыт сравнения производства духовных ценностей в науке и искусстве: две стратегии осмысления действительности / Г. Л. Тульчинский // Духовное производство и личность / отв. ред. С. С. Батенин. Ленинград: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та, 1981. С. 25–34.
210. *Тульчинский Г. Л.* Проблемы осмысления действительности / Г. Л. Тульчинский. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 175 с.
211. *Уваров П. Ю.* Зачем средневековой Европе понадобились университеты [Электронный ресурс] / П. Ю. Уваров. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=QbAeFglNOsY&t=17s>.
212. *Уваров П. Ю.* Корпорация толкователей / П. Ю. Уваров // Культиватор. 2011. № 3. С. 31–40.
213. *Уваров П. Ю.* 7 фактов о формировании «содружества живых и мертвых» и логике университетской корпорации [Электронный ресурс] / П. Ю. Уваров. Режим доступа: <https://postnauka.ru/faq/24472>.
214. *Уваров П. Ю.* У истоков университетской корпорации: публичная лекция [Электронный ресурс] / П. Ю. Уваров. Режим доступа: <http://www.polit.ru/lectures/2010/02/04/university/>.
215. *Уваров П. Ю.* Университет / П. Ю. Уваров // Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд., испр. и доп. Москва: РОССПЭН, 2007. С. 544–552.

216. *Узнадзе Д. Н.* Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. Москва: Наука, 1966. 451 с.

217. *Университетоведение: учебно-методическое пособие* / гл. ред. О. А. Яновский. Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 2011. 343 с.

218. *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки / П. Фейерабенд. Москва: Прогресс, 1986. 542 с.

219. *Филатов В. П.* Предпосылки познания и проблема их рефлексивного анализа / В. П. Филатов // Проблемы рефлексии в научном познании / ред. В. Н. Борисова. Куйбышев: Изд-во Куйбышев. гос. ун-та, 1983. С. 31–36.

220. *Философия и наука: методология научного поиска* / под ред. Л. А. Беляевой. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбург. акад. современ. искусства, 2018. 292 с.

221. *Философские и мировоззренческие проблемы современной науки* / под ред. П. Н. Федосеева. Москва: Наука, 1981. 381 с.

222. *Финкельштейн Э. Б.* Проблема бессознательного и фундаментальные принципы физики / Э. Б. Финкельштейн // Бессознательное: природа, функции, методы исследования: в 4 томах / под общ. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилиси: Мецниереба, 1982–1985. Т. 4. С. 341–352.

223. *Франкл В.* Человек в поисках смысла / В. Франкл. Москва: Прогресс, 1990. 368 с.

224. *Фрейд З.* Недовольство культурой / З. Фрейд. Москва: Эксмо; Харьков: Фолио, 2013. 120 с.

225. *Фрейд З.* О психоанализе / З. Фрейд // Фрейд З. Сочинения. Москва: Эксмо; Харьков: Фолио, 2007. С. 311–369.

226. *Фрейд З.* По ту сторону принципа удовольствия / З. Фрейд. Москва: Современные проблемы, 1925. 110 с.

227. *Харари Ю. Н.* Краткая история человечества / Ю. Н. Харари. Москва: Синдбад, 2016. 520 с.

228. *Харари Ю. Н.* Homo Deus: Краткая история будущего / Ю. Н. Харари. Москва: Синдбад, 2018. 494 с.

229. *Хейзинга Й.-Х.* Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры / Й.-Х. Хейзинга. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 416 с.

230. *Хоружий С. С.* Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении / С. С. Хоружий. Москва: Центр психологии и психотерапии, 1991. 136 с.
231. *Хоружий С. С.* После перерыва. Пути русской философии / С. С. Хоружий. Санкт-Петербург: Алетейя, 1994. 448 с.
232. *Хоружий С. С.* Синергичная антропология: вехи развития [Электронный ресурс] / С. С. Хоружий // Человек.ru. Режим доступа: http://synergia-isa.ru/?page_id=3611.
233. *Хуцишвили Г. Ш.* Генезис структуры теоретического мышления / Г. Ш. Хуцишвили. Тбилиси: Мецниереба, 1989. 184 с.
234. *Черняк В. С.* О природе научной теории / В. С. Черняк // Вопросы философии. 1977. № 6. С. 71–81.
235. *Черняк В. С.* История, логика, наука / В. С. Черняк. Москва: Наука, 1986. 371 с.
236. *Черняк В. С.* Концепция истории науки А. Койре / В. С. Черняк // В поисках теории развития науки: очерки западноевропейских и американских концепций XX века / отв. ред. С. Р. Микулинский, В. С. Черняк. Москва: Наука, 1982. С. 118–149.
237. *Шагеев В. А.* Опыт в структуре научно-познавательной деятельности (обзор литературы) / В. А. Шагеев, В. С. Швырев // Вопросы философии. 1983. № 3. С. 150–159.
238. *Швырев В. С.* Научное познание как деятельность / В. С. Швырев. Москва: Политиздат, 1984. 232 с.
239. *Швырев В. С.* Рациональность в сфере ее возможностей / В. С. Швырев // Исторические типы рациональности / ред. В. А. Лекторский. Москва: Изд-во Рос. акад. наук, Ин-т философии, 1995. С. 7–29.
240. *Швырев В. С.* Теоретическое и эмпирическое в научном познании / В. С. Швырев. Москва: Наука, 1978. 382 с.
241. *Штофф В. А.* Моделирование и философия / В. А. Штофф. Москва; Ленинград: Наука, 1966. 301 с.
242. *Штофф В. А.* Роль моделей в познании / В. А. Штофф. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. 128 с.
243. *Эльконин Б. Д.* Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского) / Б. Д. Эльконин. Москва: Тривола, 1994. 168 с.

244. *Эльконин Д. Б.* Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. Москва: Педагогика, 1989. 560 с.
245. *Эльконин Б. Д.* Л. С. Выготский – Д. Б. Эльконин: знаковое опосредствование и совокупное действие / Б. Д. Эльконин // Вопросы психологии. 1996. № 5. С. 59–62.
246. *Эпштейн М. Н.* Об основных конфигурациях советской мысли в послесталинскую эпоху / М. Н. Эпштейн // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд / под. ред. В. А. Лекторского. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2014. С. 73–89.
247. *Юм Д.* Исследования о человеческом познании / Д. Юм // Юм Д. Сочинения: в 2 томах. Москва: Мысль, 1976. Т. 2. С. 5–170.
248. *Ярошевский М. Г.* История психологии / М. Г. Ярошевский. Москва: Мысль, 1985. 575 с.
249. A History of the University in Europe. Vol. I: Universities in the Middle Ages / ed. by W. Rüegg. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 536 p.
250. A History of the University in Europe. Vol. III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945) / ed. by W. Rüegg. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press, 2004. 776 p.
251. *Al-karauin* [Electronic resource]. Access mode: <https://www.alquaraouiine.com>.
252. *Angyal A.* The holistic Theory of Personality / A. Angyal // Psychology of of Personality: readings in the tjeory. Chicago, Illinois: Rand NaNall, 1965. P. 319–341.
253. *Becker H. S.* Making the Grade: The Academic Side of College Life / H. S. Becker, B. Geer, E. C. Hughes. Chicago: John Wiley & Sons, Inc., 1968. 243 p.
254. *Becker H. S.* Boys in White: Student Culture of Medical School / H. S. Becker [et. al]. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 188 p.
255. *Dmitrishin A.* Deconstructing Distinctions. The European University in Comparative Historical Perspective / A. Dmitrishin // Entremons. UPF Journal of World History. Universitat Pompeu Fabra. 2013. № 5. P. 1–18.

256. *Ez-zitouna University* [Electronic resource]. Access mode: <http://www.uz.rnu.tn>.

257. *Faught J.* Presuppositions of the Chicago School in the Work of Everett C. Hughes / J. Faught // *American Sociologist*. 1980. Vol. 15, № 1. P. 72–82.

258. *Helmes-Hayes R. C.* Everett Hughes: Theorist of the Second Chicago School / R. C. Helmes-Hayes // *International Journal of Politics, Culture and Society*. 1998 (a). Vol. 11, № 4. P. 621–673.

259. *Huff T. E.* Historical Sociology and Civilizational Analysis / T. E. Huff // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2014. Т. 17, № 2. С. 26–54.

260. *Huff T. E.* Rev.: Saliba G. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. Cambridge: MIT Press, 2007 / T. E. Huff // *Middle East Quarterly*. 2008. Vol. 15, № 4. P. 77–79.

261. *Huff T. E.* The Rise of Early Modern Science: A Reply to George Saliba / T. E. Huff // *Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies*. 2002. Vol. 4, № 2. P. 15–128.

262. *Huff T. E.* *The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West* / T. E. Huff. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 409 p.

263. *Huff T. E.* What the West Doesn't Owe Islam / T. E. Huff // *Comparative Civilizations Review*. 2012. Fall. № 67. P. 116–129.

264. *Hughes E. C.* *Careers* / E. C. Hughes // *Qualitative Sociology*. 1997. Vol. 20, № 3. P. 389–397.

265. *Hughes E. C.* *The Sociological Eye: Selected Papers* / E. C. Hughes. Chicago; New York: Aldine-Atherton, 1971. 386 p.

266. *Kislov A. G.* Forthcoming Plans for Institutional Transformation of Russian Higher Education / A. G. Kislov, O. V. Smurygina // *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. 2013. Vol. 3, № 6. P. 438–454.

267. *Makdisi G.* *The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West* / G. Makdisi. Edinburgh: University Press, 1984. 378 p.

268. *Morson G. S.* *Mikhail Bakhtin: Creation of Prosaics* / G. S. Morson, C. Emerson. Stanford (Calif.), 1990. 552 p.

269. *Moutsios S.* University: The European Particularity / S. Moutsios // Working Papers on University Reform. Department of Education, University of Aarhus. 2012. № 18. 24 p.

270. *Nisbet R.* The Degradation of the Academic Dogma [Electronic resource]: The University in America, 1945–1970 / R. Nisbet. New York: Basic Books, Inc., 1970. 252 p. Access mode: <https://www.questia.com/read/100379736/the-degradation-of-the-academic-dogma-the-university>.

271. *Readings B.* The University in Ruins / B. Readings. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998. 256 p.

272. *Saliba G.* Flying Goats and Other Obsessions: A Response to Toby Huff's "Reply" / G. Saliba // Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 2002. Vol. 4, № 2. P. 129–141.

273. *Saliba G.* Islamic Science and the Making of the European Renaissance / G. Saliba. Cambridge: MIT Press, 2007. 315 p.

274. *Saliba G.* Seeking the Origins of Modern Science? / G. Saliba // Bulletin of the Royal Institute for InterFaith Studies. 1999. Vol. 1, № 2. P. 139–152.

Оглавление

Введение.....	3
1. Факты как источник концептов.....	11
2. Энергия концептуальных построений.....	34
3. Факты как ad hoc концептуальные построения	72
4. За пределами фактов и концептов	98
Заключение	115
Библиографический список.....	117

Научное издание

Кислов Александр Геннадьевич

МЕЖДУ ФАКТАМИ И КОНЦЕПТАМИ:
НЕЛИНЕЙНЫЕ ТРАЕКТОРИИ НАУЧНОГО ПОИСКА

Редактор О. В. Половникова
Компьютерная верстка Н. А. Ушениной

Печатается по постановлению
редакционно-издательского совета университета

Подписано в печать 18.06.19. Формат 60×84/16. Бумага для множ. аппаратов.
Печать плоская. Усл. печ. л. 8,0. Уч.-изд. л. 8,2. Тираж 500 экз. Заказ № ____.
Издательство Российского государственного профессионально-педагогического университета. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.
